Музы слышны. Отчет о гастролях "Порги и

Трумэн Капоте

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

...Трумен Капоте очень много работал и как журналист, а одно время всерьез подумывал посвятить себя кинематографу как автор сценариев и, может быть, режиссер. Из этой идеи в итоге ничего не вышло. Но в журналистике, в эссеистике Капоте достиг вершин. Любопытно, что его карьера газетчика началась с поездки в Москву и Ленинград зимой 1955 года. Он сопровождал труппу, которая показывала знаменитый спектакль «Порги и Бесс», оперу Джорджа Гершвина. Это был первый серьезный культурный обмен после десяти лет абсолютно непроницаемого «железного занавеса» - событие символическое, обладавшее не только художественным, но общественным значением. Большой очерк Капоте об этих гастролях назывался «Музы услышаны» (хотя бы на время)...

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2007, №5, №6.
Перевод Нины Ставиской

-
- Часть первая. Когда молчат пушки
- Часть вторая. Музы слышны

Посвящается Барбаре Пейли

Часть первая. Когда молчат пушки

В субботу 17 декабря 1955 года, сырым и туманным западно-берлинским днем, участников американского оперного спектакля “Порги и Бесс” — все 94 человекоединицы — попросили собраться в репетиционном зале на инструктаж. Инструктаж проводили советник американского посольства в Москве Уолтер Уолмсли-младший и второй секретарь посольства Рой Лаури. Оба они специально приехали в Западный Берлин — проинформировать труппу о предстоящих гастролях в Ленинграде и Москве и ответить на вопросы, если таковые появятся.

Первая в истории поездка американской театральной труппы в Россию — венец четырехгодичного мирового турне “Порги и Бесс” — явилась плодом долгих, запутанных и так до конца и не проясненных переговоров между СССР и компанией “Эвримен-опера, Инкорпорейтед”, в лице продюсеров Гершвиновой оперы Роберта Брина и Блевинса Дэвиса.

Русские до сих пор не доставили виз, но громадная труппа — пятьдесят восемь актеров, семеро рабочих сцены, два дирижера, комплект жен и секретарш, шестеро детей с учителем, трое журналистов, два пса и один психиатр — пребывала в полной боевой готовности и прямо-таки горела желанием в ближайшие 48 часов отбыть из Восточного Берлина и через Варшаву и Москву поездом проследовать в Ленинград — расстояние примерно в 1100 миль, занимающее почему-то трое суток езды.

На инструктаж я ехал в такси с миссис Гершвин и квадратным, мускулистым человеком по имени Джерри Лоз, в прошлом боксером, а ныне певцом. Миссис Гершвин, как всем известно, замужем за Айрой Гершвиным, братом композитора и автором либретто “Порги и Бесс”. В минувшие четыре года она то и дело оставляла мужа дома, в Беверли-Хиллз, и отправлялась с труппой скитаться по свету:

— Айра — коровья лепешка какая-то. Ему из комнаты в комнату перейти — пытка. А я вот, солнышко, — прямо цыганка. Обожаю путешествия.

Эта маленькая, хрупкая женщина по прозвищу Ли (сокращенное от Леноры) обожает бриллианты и выходит увешанная ими к завтраку, обеду и ужину. У нее выбеленные перекисью волосы, лицо в форме сердечка и девический голосок. Разговор ее — это случайные, беспорядочно несущиеся вперед обрывки фраз, произносимые звонким, не таящимся от людей шепотом и склеенные ласкательными именами.

— Солнышко, — щебетала она, пока мы сквозь мрак и морось ехали по Курфюрстендам, — вы про елку слышали? Русские устраивают нам рождественскую елку. В Ленинграде. Прелесть какая. Тем более что они вообще не верят в Рождество, да ведь, дорогуша? И потом, Рождество у них гораздо позже. Потому что у них другой календарь. Радость моя, неужели это правда?

— Что они не верят в Рождество? — спросил Джерри Лоз.

— Да нет же, солнышко, — нетерпеливо сказала миссис Гершвин. — Насчет микрофонов. И съемок.

В труппе уже много дней шли разговоры о несоблюдении в России неприкосновенности частной жизни. Ходили слухи, что письма там перлюстрируют, а гостиничные номера полны скрытых камер и микрофонов. Поразмыслив, Лоз сказал:

— Думаю, правда.

— Лапушка, но как же так? — запротестовала миссис Гершвин. — Это же с ума сойти! И где нам тогда сплетничать — в туалете, что ли? И все время стоять и воду спускать? А насчет скрытых камер...

— Думаю, тоже правда, — сказал Лоз.

Миссис Гершвин умолкла и погрузилась в задумчивость, в которой и пребывала до конца нашей поездки. Тут только она не без грусти произнесла:

— Все-таки с елкой — это они молодцы.

Мы минут на пять опоздали и с трудом нашли свободные места в рядах складных стульев, расставленных в репетиционном зале. Зал, с зеркалами во всю стену, был битком набит и жарко натоплен, но, невзирая на это, некоторые из собравшихся, будто уже чуя холодные степные ветры, сидели в пальто и шарфах, специально купленных для поездки в Россию. Процесс приобретения этих предметов одежды оказался пронизан духом конкуренции, благодаря чему во многих присутствовавших было что-то эскимосское.

Собрание открыл Роберт Брин, ко-продюсер и режиссер “Порги и Бесс”. Он представил нам эмиссаров посольства, Уолмсли и Лаури, сидевших за столом лицом к публике. Затем Уолмсли, плотный, средних лет человек, подстриженный под Менкена, объяснил, сухо и растягивая слова, какую “уникальную возможность” являет собой предстоящее турне, и заранее поздравил собравшихся с “громадным успехом”, который, он уверен, ждет их по ту сторону “железного занавеса”.

— Все, что происходит в СССР, запланировано, а поскольку ваш успех запланирован, я без всяких опасений поздравляю вас уже сейчас.

Мистер Лаури, моложавый, чопорный, напоминающий

школьного учителя, видимо, почувствовал, что в комплиментах коллеги чего-то не хватает, и вставил, что Уолмсли, разумеется, совершенно прав, но что “в России вашего приезда ждут с восторгом. Там знают музыку Гершвина. Один мой русский знакомый недавно был в гостях, так там его приятели втроем пропели „Ты теперь моя, Бесс” от начала до конца”.

Исполнители благодарно заулыбались, и слово снова взял Уолмсли.

— Да, среди русских есть и хорошие люди. Очень хорошие. Но у них плохое правительство, — говорил он медленно, с расстановкой, как бы диктуя. — Необходимо все время помнить, что их система правления в корне враждебна нашей. Там такие законы, о которых вы и не слыхивали. Лично я за всю свою жизнь — а у меня большой опыт — ничего подобного не видел.

Тут поднял руку Джон Маккарри. Маккарри играет в спектакле злодея по кличке Краун и выглядит соответственно: большой, тяжелый, зловещий. Вопрос его был таков:

— Допустим, нас в гости позвали. Мы куда ни приедем, нас завсегда приглашают. Так как, идти или нет?

Дипломаты с усмешкой переглянулись.

— Вы, конечно, понимаете, — сказал Уолмсли, — что перед нами этот вопрос не встает. Нас никуда никогда не зовут. Только официально. Впрочем, вас, может быть, и пригласят куда-нибудь. Тогда, разумеется, воспользуйтесь этой возможностью. Насколько мне известно, ваши хозяева разработали обширную программу. У вас минуты не будет свободной. Еще надоест.

Исполнители помоложе от такой перспективы причмокнули, но один из них выразил сомнение:

— Я спиртного в рот не беру. А они, не дай бог, станут произносить эти, как их, тосты, — так как, чтоб, значит, без обиды?

Уолмсли пожал плечами:

— Не хотите — не пейте. Это необязательно.

— Точно, друг, — посоветовал обеспокоенному приятель, — никто не обязан пить, коли не хочет. Не захочешь — мне отдашь.

Теперь вопросы лились рекой. Родители тревожились о детях. Будет ли в России пастеризованное молоко? Будет, но, по мнению господина Лаури, нелишне запастись “Старлаком” — он своих детей поит только им. А воду пить можно? Да, без всяких опасений. Мистер Уолмсли пьет воду только из-под крана. Как обращаться к советским гражданам? “Ну, — сказал Уолмсли, — „товарищ” говорить не стоит. Господин и госпожа сойдет”. — “А как насчет покупок, дороговизна большая?” — “Чудовищная, но это неважно, купить все равно нечего”. — “Сколько градусов

зимой?” — “До минус тридцати двух”. — “А в номере тепло?” — “Очень. Даже слишком”.

С главным было покончено, и тут из задних рядов раздался голос:

— Здесь всякие бредни ходят. Говорят, за нами будут “хвосты”.

— “Хвосты”? — улыбнулся мистер Уолмсли. — Не исключено. Но это не то, что вы думаете. Если за вами и будут следить, то для вашей же безопасности. Поймите, там на вас будут глазеть толпы. Это не по Берлину гулять. Так что к вам наверняка кого-нибудь приставят. Безусловно.

— Факт тот, — вставил г-н Лаури, — что Министерство культуры очень хотело, чтобы вы приехали, поэтому с вами будут обращаться наилучшим образом, без придирок, не как с другими иностранцами.

Голос из задних рядов настаивал, не без разочарования:

— Мы слышали, что за нами будут следить. И вскрывать письма.

— А-а, — сказал Уолмсли, — это дело другое. Это само собой. Я, например, всегда исхожу из того, что мои письма вскрывают.

Слушатели зашевелились, обводя собравшихся глазами с видом “я же говорил!”. Тут поднялась секретарша Роберта Брина, Нэнси Райан. Мисс Райан (Радклифф-колледж, выпуск 1952 года) поступила в труппу три месяца назад, по причине интереса к театру. Она из Нью-Йорка, синеглазая блондинка, высокая, под шесть футов ростом, и очень похожая на мать, без конца фотографируемую светскую красавицу, жену Уильяма Райнлендера Стюарта. Мисс Райан выступила с предложением:

— Мистер Уолмсли, если письма вскрывают, то, может быть, лучше писать открытки? Их можно читать не вскрывая, и они будут быстрее доходить.

Уолмсли явно не видел в идее мисс Райан плюсов — ни в смысле экономии времени, ни в смысле избежания неприятностей. Между тем миссис Гершвин вполголоса уговаривала Джерри Лоза ринуться в бой:

— Ну же, солнышко, спросите его насчет микрофонов!

Лоз поймал взгляд дипломата.

— Тут есть которые беспокоятся, — сказал он, — насчет такой возможности, что у нас в номерах будут микрофоны.

Мистер Уолмсли кивнул.

— По-моему, возможность — это мягко сказано. Исходить надо из того, что они там есть. Но, конечно, наверняка знать невозможно.

Последовала пауза. Миссис Гершвин теребила бриллиантовую брошку и, по-видимому, ждала, что Лоз поднимет вопрос о скрытых камерах, но он не успел, так как слово вновь взял Маккарри.

Он подался вперед, ссутулив мощные плечи. Его мнение такое, сказал он: хватит ходить вокруг да около, пора о деле поговорить.

— А дело вот какое: что отвечать, коли спросят о политике? Я имею в виду негритянский вопрос.

Заданный низким, тяжелым голосом Маккарри, вопрос этот прокатился по залу океанской волной, завладевая на своем пути безраздельным вниманием слушателей. Уолмсли заколебался, как будто прикидывая, нырнуть под волну или проплыть на гребне; одно было ясно — ему не хотелось бы встретиться с ней лицом к лицу.

— Вы не обязаны отвечать на вопросы политического характера, как и они на ваши. — Уолмсли откашлялся и добавил: — Это минное поле, и ходить по нему надо с большой осторожностью.

Поднялся ропот — совет дипломата явно никого не удовлетворил. Лаури начал что-то шептать Уолмсли на ухо, а Маккарри пошептался с женой, меланхоличного вида женщиной, которая сидела рядом с ним, держа на коленях трехлетнюю дочку. Потом он снова заговорил:

— Но нас точно спросят про негритянский вопрос. Они всегда спрашивают. Прошлый год мы ездили в Югославию, так там все время...

— Ну да, конечно, — бесцеремонно перебил его Уолмсли. — Для этого все и задумано. В этом-то вся соль, верно?

Слова эти, а может быть, тон, каким они были сказаны, явно пришлись публике не по нраву; и Джерри Лоз, о чьем бешеном нраве ходили легенды, напрягшись, вскочил на ноги.

— Так чего делать-то? Говорить правду, все как есть, или замазывать? Вам-то что требуется?

Уолмсли моргнул, снял очки и протер их.

— Нет, отчего же, говорите правду, — сказал он. — Поверьте мне, сэр, русские знают о негритянском вопросе не меньше вашего, и им на него абсолютно наплевать. Им важны заявления, пропаганда — то, что можно использовать в их интересах. Следует помнить, что все, что вы скажете в интервью, будет подхвачено американской прессой и перепечатано в газетах у вас дома.

Тут встала с места женщина — первая, открывшая рот.

— Мы все знаем, что дома у нас есть дискриминация, —

застенчиво сказала она, и к ней все уважительно прислушались. — Но за последние восемь лет негры многого добились. Мы прошли большой путь, этого у нас не отнимешь. Мы можем с гордостью указать на наших ученых, артистов. И если рассказать об этом в России, то это, наверное, принесет пользу.

В том же духе высказались и другие. Виллем Ван Лоон, русскоговорящий сын покойного историка, ведавший в Эвримен-опере связями с общественностью, был "очень, очень рад, что этот вопрос так подробно обсуждается. На днях я записывал интервью с парой исполнителей на радиостанции для американских военных здесь, в Германии, и было ясно, что в этом пункте, в расовом то есть вопросе, надо быть крайне, крайне осторожным, учтя, что мы так близко от Восточного Берлина и возможность подслушивания…"

— Кстати, — негромко перебил его Уолмсли, — надеюсь, вы понимаете, что нас и сейчас подслушивают.

Ван Лоону это явно не приходило в голову, как и никому из собравшихся, судя по общему ужасу и испуганному озиранию вокруг с целью понять, на кого намекает Уолмсли. Однако подтверждения его слов, в виде таинственных незнакомцев, не обнаружилось. Ван Лоон говорил еще долго, но его бессвязная речь постепенно сошла на нет, как и само собрание. В благодарность слушатели похлопали дипломатам, и оба порозовели.

— Спасибо, — сказал Уолмсли. — Очень приятно было с вами побеседовать. Нам с мистером Лаури нечасто доводится дышать атмосферой кулис.

После этого режиссер спектакля Роберт Брин стал созывать исполнителей на репетицию, но переливание из пустого в порожнее по поводу "брифинга" продолжалось еще долго. Джерри Лоз высказался коротко: "Информации ноль". Миссис Гершвин, наоборот, была подавлена изобилием информации.

— Я просто убита, солнышко. Только подумайте, вот так жить! Все время подозревать и никогда не знать точно. Радость моя, но где же нам сплетничать?

Обратно в гостиницу меня подвез ассистент Брина, Уорнер Уотсон. Вторым его пассажиром был доктор Фабиан Шаппер, американец, оказавшийся студентом Германского института психоанализа. Ходили слухи, что его пригласили в российское турне на случай "стресса" у кого-нибудь из труппы. Правда, в последнюю минуту доктора Шаппера, к большому его огорчению, не взяли: начальство решило, что без психиатра, наверное, все-таки можно и обойтись; возможно, сыграло роль и то, что психоанализ в Советском Союзе не жалуют. Но тогда, в такси, он

был занят тем, что уговаривал Уорнера Уотсона “расслабиться”.

— Те, кто могут расслабиться, — сказал Уотсон, зажигая сигарету заметно дрожавшими пальцами, — не возят такие спектакли на гастроли в Самоварию.

Уотсону под сорок. У него седеющий “ежик” и карие глаза с робким, безропотным взглядом. В лице его и манере держаться есть что-то размыто кроткое, какая-то усталость не по летам. Начинал он актером, но с 1952 года, то есть с момента возникновения Эвримен-оперы, состоит при труппе. Главная его обязанность, как он выражается, — “заарканивать всякие штуки”. В Берлине он последние две недели дневал и ночевал в советском посольстве, пытаясь хоть что-нибудь заарканить. Но несмотря на сверхчеловеческие усилия, многое так и осталось не заарканенным — например, паспорта, которые и сейчас, накануне отъезда, таились где-то у русских в ожидании виз. Возникли также сложности с поездом, которым труппа отправлялась в Ленинград. Постановочная часть затребовала четыре спальных вагона. На это русские категорически ответили, что предоставят три “мягких”. Все три, плюс багажный вагон и вагон для декораций, будут прицеплены к Голубому экспрессу, советскому поезду, который регулярно ходит из Восточного Берлина в Москву. Муки Уотсона происходили оттого, что он так и не добился от русских плана вагонов, а потому не мог начертить схемы, кому где спать, — и поездка воображалась ему некоей фарсовой Walpurgisnacht*: “полок меньше, чем людей” Не удалось ему и выяснить, в каких гостиницах остановится труппа в Ленинграде и в Москве, и проч., и проч. “Они никогда не говорят всего сразу. Только в час по чайной ложке. Сказали „А” — значит, может, скажут и „Б”, но через сто лет”.

Зато сами русские, похоже, не отличались терпением, которого требовали от остальных. Несколько часов назад из Москвы пришла телеграмма, от которой, как считал Уотсон, у него и стали трястись руки. “В случае недоставления партитур посольство Берлине сегодня вечером открытие Ленинграде будет отложено снижением гонорара”. Советские уже несколько недель требовали партитуру, чтобы их музыканты начали репетировать заранее, не дожидаясь прибытия труппы. Брин не соглашался, боясь, что его единственный экземпляр оркестровки пропадет в пути. Но телеграфный ультиматум — особенно зловещая концовка — подействовал, и сейчас Уотсон ехал отдавать партитуру в советское посольство.

— Не надо волноваться, — говорил он, отирая с верхней губы капельки пота. — Я вот совершенно не волнуюсь. Мы все это заарканим.

— Постарайтесь расслабиться, — сказал доктор Шаппер.

Дома, в отеле “Кемпински”, где жила труппа, я зашел поболтать с женой Брина Вильвой. Она этой ночью прилетела из Брюсселя, где советовалась с врачом. Ее уже давно мучили приступы аппендицита, и, летя позавчера в Брюссель, она понимала, что может понадобиться срочная операция, а тогда — прощай, Россия. В октябре прошлого года она десять дней пробыла в Москве, обсуждая устройство турне с Министерством культуры, — и это “захватывающее” переживание переполняло ее желанием снова там очутиться.

— Все в порядке, доктор сказал, можно ехать. Не представляла, как мне хочется, пока не стала думать: а вдруг не выйдет, — сказала она улыбаясь.

Улыбка эта отражала не столько положение дел, сколько ее натуру, беспокойную, жаждущую угодить. У миссис Брин большие карие глаза и ямочки на щеках. Волосы цвета кленовых листьев подобраны кверху и заколоты громадными шпильками, которыми вполне можно убить человека. Платье на ней шерстяное, пурпурное. Пурпурный — основной цвет ее туалетов: “Роберт без ума от пурпура”. Они с Брином женаты восемнадцать лет. Познакомились в университете штата Миннесота, на театральном факультете. Какое-то время миссис Брин была профессиональной актрисой, даже играла Джульетту, но, как говорит один их знакомый, настоящее дело ее жизни — “Роберт и Робертова карьера. Хвати у нее бумаги — она бы завернула весь земной шар и вручила ему в подарок”.

На взгляд поверхностного наблюдателя, нехватка бумаги миссис Брин не грозит: она повсюду ездит в сопровождении передвижной горы папок, писем и вырезок. Ее обязанность — вести международную корреспонденцию Эвримен-оперы и вообще следить, чтобы “все было хорошо”. В этой второй своей ипостаси она и привезла из Брюсселя пакет с игрушками, которые будут розданы детям исполнителей в Ленинграде на Рождество.

— Если, конечно, удастся вырвать их у Роберта и упаковать. — Она указала на ванную комнату, где в ванне плавала армада заводных корабликов. — Роберт без ума от игрушек. Ужас просто, — вздохнула она, — как все это влезет?

Действительно, и спальня, и гостиная, служившая одновременно конторой, были до отказа забиты предметами, упаковка которых представлялась делом нелегким, вроде громадного качелеобразного механизма под названием “Релаксатор”.

— Непременно возьму его в Россию. Он всюду со мной ездит. Не знаю, что бы я без него делала.

— Предвкушаете ли вы поездку на “Голубом экспрессе”? — спросила миссис Брин и преувеличенно обрадовалась, услышав, что предвкушаю.

— О, мы с Робертом все бы отдали, чтобы на нем прокатиться! Будет дивно, я уверена. Рассказов на всю жизнь хватит. Но, к сожалению, — голос ее вдруг преисполнился не слишком искренней грусти, — мы с Робертом решили лететь самолетом. Ну, разумеется, мы вас проводим — а когда поезд придет в Ленинград, будем стоять на платформе. То есть надеюсь. Честно говоря, не могу поверить, что это правда произойдет.

Она помолчала; нахмуренные брови на мгновение омрачили ее непорочный энтузиазм.

— Когда-нибудь я вам расскажу, как все было. Сколько людей хотело этому помешать! О-о, какие удары нам наносили! — Она ударила себя в грудь. — Настоящие, не фигуральные. И сейчас тоже. До последней минуты. — Она глянула на пачку телеграмм на столе.

Бриновские беды и без нее были всем известны. Считалось неопровержимым фактом, подтверждавшимся и рекламой, и слухами, что русские, вдохновленные духом Женевы, пригласили “Порги и Бесс” к себе в страну по собственному почину. На самом же деле Эврименопера сама напросилась. Брин, давно решивший, что логическим завершением европейского турне “доброй воли” станет поездка в Россию, взял и написал советскому премьеру, маршалу Булганину, письмо о том, что “Порги и Бесс” с удовольствием предпримет путешествие в Россию, если СССР согласится ее принять. Письмо, как видно, произвело на Булганина благоприятное впечатление, ибо он переслал его в Министерство культуры — возглавляемую Николаем Михайловым государственную монополию, которая контролирует все сферы художественной жизни в Советском Союзе. Театр, музыка, кино, книги, картины — все это подлежит внимательному, и не всегда мягкому, руководству Министерства культуры. Именно оно, с молчаливого согласия Булганина, и начало переговоры с Эврименопером.

Решение это, разумеется, тщательно взвешивалось — гораздо тщательнее, чем приглашение Comedie Fransaise, гастролировавшей в Москве годом раньше, или английского “Гамлета”, чья премьера состоялась опять-таки в Москве этой осенью. Обе труппы были приняты с неподдельным восторгом, но куда ни кинь, а риск тут — и со стороны гастролеров, и со стороны хозяев — был чисто эстетическим. Мольер и Шекспир никак не годятся для сегодняшней политической пропаганды.

Другое дело “Порги и Бесс”: тут по обе стороны “занавеса”

была масса оснований для беспокойства. Опера Гершвина, если глянуть на нее в микроскоп диалектики, прямо-таки кишит микробами, к которым у нынешнего русского режима острейшая аллергия. Во-первых, она до крайности эротична — а это не может не вызвать смятения в стране, где законы до того чопорны, что за поцелуи в общественных местах грозит арест. Во-вторых, она страшно богобоязненна: на каждом шагу подчеркивается необходимость веры в горний мир и рассказывается, как помогает человеку религия (“опиум для народа”). Далее, в ней некритично рассматривается вопрос о суевериях (см. “Песню Глупца”). Но главное — там во всеуслышание поется, что люди могут быть счастливы, когда у них “изобилие ничего”, — а это уже анафема.

Министерство культуры все это, безусловно, учло, но решило, что пилюля — а это явно была пилюля — вдоволь подслащена. В конце концов, простонародные радости — простонародными радостями, а положение американских чернокожих в “Порги и Бесс” — нищей, угнетенной расы, зависимой от жестоких белых южан и сегрегированной в гетто Кэтфиш Роу, — нельзя было бы изобразить приятнее для Министерства культуры, даже поручи оно это кому-нибудь из своих. В силу всех этих соображений летом 1955 года министерство уведомило Эвримен-оперу, что готово предоставить ей красный ковер.

Заручившись согласием России, Брин задал себе вопрос, как туда добраться. На это требовалось примерно 150 тысяч долларов. Первые газетные сообщения о том, что “Порги и Бесс” “приглашена” в Россию, с разной степенью четкости утверждали, что американский Госдепартамент не только будет душой этого, как говорил Брин, “беспрецедентного начинания”, но и обеспечит его, начинания, финансовый хребет. В этом был полностью уверен сам Брин, и не без оснований: в минувшие годы все только и делали что восхваляли Госдепартамент за моральную и финансовую поддержку оперы “Порги и Бесс”, которую “Нью-Йорк Таймс” назвала “лучшим в истории послом”. Однако после нескольких безрезультатных поездок в Вашингтон Брин обнаружил, что на покровительство друзей с берегов Потомака рассчитывать не приходится. По-видимому, они сочли его начинание слишком уж беспрецедентным или, выражаясь их языком, “политически преждевременным”. Короче, ни цента.

В театральных кругах Нью-Йорка бытовала теория, что Госдепартамент опасается использования оперы в пропагандистских целях. Защитники мероприятия считали такую позицию идиотской. По их мнению, уже само то, что опера с такой социальной критикой свободно идет в Америке, снимает пропагандистский эффект. Кроме того, говорили они, Россия

увидит негров-исполнителей — явно не нищих, не угнетенных, свободно высказывающихся на любую тему, людей образованных, даже блестящих (“В конце концов, — говорила миссис Брин, — у нас есть люди, которые в совершенстве владеют иностранными языками. В совершенстве!”), — и это изменит стереотипное представление об американских неграх, благодаря которому книга Гарриет Бичер-Стоу все еще остается бестселлером в Советском Союзе.

Газета театральных работников “Верайети” привела в качестве слуха более простое объяснение госдепартаментского поворота на 180 градусов. Согласно этому слуху, против высказалась Программа международного обмена — филиал Американского национального театра и актерской академии (АНТА), — к советам которой в Вашингтоне прислушиваются. По мнению этой организации, Госдепартамент уже достаточно потратил на “Порги и Бесс” и его средства следует распределять равномернее, включив в культурный обмен большее число мероприятий.

При этом и АНТА и Госдепартамент выразили Эврименопере наилучшие пожелания. Это было никакое не отречение, всего лишь лишение наследства. Но наилучшие пожелания не увеличивали бриновского счета в банке, и пока он соображал, как собрать нужную сумму путем частной подписки, произошло неожиданное. Русские взяли и заявили, что сами все оплатят.

Разумеется, не надо быть советологом, чтобы понять, что этот шаг преследовал политическую цель: “уесть” Госдепартамент. Однако именно поэтому американские поклонники Брина радостно приветствовали русское предложение. Им казалось, что Вашингтон устыдится и расщедрится. Но не тут-то было.

Между тем сроки поджимали, и перед Брином встал выбор: либо вообще отказаться от своей затеи, либо позволить советским нажить на ней политический капитал. Соответственно, в Москве был разработан датированный третьим декабря 1955 года контракт между Министерством культуры СССР (в дальнейшем именуемым просто “министерство”) и “Эврименопера, Инкорпорейтед” (в дальнейшем именуемой просто “компания”). Контракт составляет три с половиной страницы убористого текста и содержит несколько весьма оригинальных пунктов — в частности, обязательство министерства обеспечить русского исполнителя, а именно “одну козу домашнюю”. Но суть его — в пункте 5. Если раскрутить перекрученные придаточные этого нескончаемого предложения, то выясняется, что во время пребывания в Советском Союзе компании будет выплачиваться еженедельно 16 тысяч долларов, — а это гораздо ниже их

обычного гонорара, тем более что платежи будут производиться наполовину “в долларах США в виде банковского чека в Нью-Йорке, а остальное — наличными, в рублях по официальному обменному курсу”. (Общеизвестно, что официальный курс — это чистейший произвол: четыре рубля за доллар. Насчет того, каким должен бы быть обменный курс, мнения расходятся, но в Москве на черном рынке за доллар дают десять рублей, а если человек, рискуя Сибирью, вывезет валюту за границу, то получит в Швейцарии всего один доллар за пятнадцать рублей.) В дополнение к этим финансовым соглашениям пункт 5 обещал также, что министерство предоставит компании “бесплатное проживание и питание в отелях первого класса, проезд в спальном вагоне и питание в вагоне-ресторане. Далее, как решено и согласовано, министерство берет на себя все расходы по перевозке участников компании, а также по транспортировке ее сценического оборудования в Советский Союз и по территории СССР, а также обратно, до европейской границы Советского Союза”.

В общем и целом русские вкладывали примерно 150 тысяч долларов. Это была не филантропия, а трезвый расчет. Если все спектакли пройдут с аншлагами, в чем никто не сомневался, то министерство получит вдвое больше вложенного, то есть общая сумма доходов с гастролей составит 300 тысяч долларов. С другой стороны, исходя из контракта “министерство — компания” и из закона о доходе относительно себестоимости, получалось, что Эвримен-опера будет нести убытки в размере примерно четырех тысяч долларов в неделю. Оставалось верить, что Брин придумал, как эти убытки покрыть. “Но что именно он придумал — не спрашивайте, солнышко, — говорила миссис Гершвин. — Это тайна, покрытая мраком”.

Пока миссис Брин развивала тему “ударов в сердце”, вернулся с репетиции ее муж. Не хочет ли он выпить, спросила она. Хочет, и очень даже. Чистого бренди.

Брину лет сорок пять. Он среднего роста и прекрасно сложен, чего нельзя не заметить из-за его пристрастия к узким брюкам и приталенным пиджакам а-ля Эйзенхауэр. Рубашки он носит черные или пурпурные, сшитые на заказ. У него редеющие белокурые волосы, и он всегда — на улице и дома — ходит в черном берете. Лицо его, тонкое, бледное, со впалыми щеками, принадлежит как будто двум совершенно разным людям, в зависимости от того, серьезен он или улыбается. В серьезные моменты, длящиеся иногда часами, оно превращается в мрачную, застывшую маску, как будто он позирует фотографу, велевшему не двигать ни одним мускулом. В такие минуты неизменно

вспоминаешь, что Брин, как и его жена, играл на сцене — и не кого-нибудь, а Гамлета, в спектакле, который гастролировал после войны в Европе и шел даже в подлинном Эльсиноре. Но стоит Брину отвлечься от забот или чем-нибудь заинтересоваться, как лицо его переполняется жизнью и мальчишеской веселостью. Сквозь мнимую недоступность и отчужденность вдруг проступает что-то застенчивое, милое и простодушное. Может быть, именно этой двойственностью объясняется то, что какой-нибудь сотрудник Эврименоперы ворчит: “С мистером Брином никогда не знаешь, чего ждать”, — а через несколько минут от него же слышишь: “Его кто угодно обхитрит. Уж очень он добрый”.

Брин глотнул бренди и поманил меня в ванную, показать, как работает игрушечный кораблик. Это было оловянное каноэ, которым управлял заводной индеец.

— Колоссально, правда? — говорил он, глядя, как индеец гоняет каноэ по ванне. — Что-то невероятное!

У него актерский поставленный голос, такой низкий, что кажется помпезным; холеные руки его движутся в такт словам, но не возбужденно, как у романских народов, а изящно и ритуально-медленно, как будто он служит мессу. Кстати, в молодости он думал о церковной карьере и, прежде чем посвятить себя сцене, год учился на священника.

Я спросил, как прошла репетиция.

— Ну, состав у нас сильный, — ответил он, — но они считают, что успех у них в кармане. Избаловались. Вызовы, знаете ли, овации, восторженные рецензии... Никак им не втемяшить, что гастроли в России — это не просто еще один ангажемент. Там надо превзойти самих себя.

По мнению сторонних наблюдателей, для этого Брину предстояло как следует потрудиться. В 1952 году, когда они с Блевинсом Дэвисом ставили оперу Гершвина (которая в первой постановке Театральной Гильдии в 1935 году не имела ни зрительского, ни критического успеха), среди исполнителей были Уильям Уорфилд (Порги), Леонтина Прайс (Бесс) и Кэб Кэллоуэй (Кайфолов). Но с тех пор звезды ушли, ушли и те, кто пришел на их место, а заменившие заменивших были не того калибра. В долгоидущем спектакле вообще очень трудно сохранить уровень исполнения, особенно когда труппа все время в разъездах. Утомительные переезды, сменяющиеся как во сне гостиничные номера и рестораны, наэлектризованная атмосфера совместной жизни и работы — все это, накапливаясь, изнуряет артистов, а это сказывается на спектакле. Немецкий театральный критик Хорст Кюглер, посмотревший “Порги и Бесс” три года назад на Берлинском музыкальном фестивале, пришел в восторг и ходил

на нее пять раз; теперь же, посмотрев ее снова, он написал, что спектакль “по-прежнему брызжет энергией и обаянием, несмотря на резко ухудшившееся качество постановки”. Всю минувшую неделю Брин репетировал по максимуму, дозволенному профсоюзными правилами; неизвестно было, удастся ли ему вколотить в актеров первоначальную отточенность, — но он и не думал беспокоиться о том, как примут спектакль в Ленинграде. Это будет “разорвавшаяся бомба”! Русские будут “сбиты с ног”! А главное — и тут нечего было возразить — “Такого они не видели!”.

Брин допил бренди, и тут жена окликнула его из соседней комнаты:

— Пора переодеваться, Роберт. Они будут здесь в шесть. Я заказала отдельный зал.

— Четверо русских из посольства, — объяснил Брин, провожая меня до дверей. — Приглашены на ужин. Добрые отношения, знаете ли, и все прочее. Побеждает дружба.

У себя в номере на кровати я нашел большой пакет в грубой оберточной бумаге. На пакете стояла моя фамилия, название гостиницы — “Кемпински” — и номер комнаты. Адреса и фамилии отправителя не было и в помине. Внутри оказалось полдюжины толстых антикоммунистических брошюр и написанная от руки открытка, гласившая: “Уважаемый сэр, вы еще можете спастись”. Спастись, по-видимому, предстояло от судеб, описанных в приложенной литературе. Она представляла собой подлинные, по утверждению автора, истории лиц, в большинстве своем немцев, которые, кто волей, кто неволей, оказались за “железным занавесом” и сгинули без следа. Как все подлинные истории, они были захватывающе интересны, и я бы прочел их в один присест, если бы не телефонный звонок.

Звонила Бринова секретарша Нэнси Райан.

— Слушай, — сказала она, — ты не против спать со мной? Я про поезд. Понимаешь, получается, что в каждом купе будет по четыре человека, так что придется делать как русские. Они всегда кладут вместе мальчиков и девочек. В общем, мы тут сейчас решаем, кого с кем, и учитывая, кто кого любит, а кто ненавидит, кто с кем хочет, а кто нет, — я тебе скажу, это кошмар какой-то. Так что если мы будем вместе с голубками, это сильно упростит дело.

“Голубки” было прозвище Эрла Брюса Джексона, одного из трех исполнителей роли Кайфолова, и Хелен Тигпен, играющей Серену. Джексон и мисс Тигпен уже много месяцев были помолвлены и, согласно рекламным проспектам Эвримен-оперы, собирались обвенчаться в Москве.

Я сказал, что предложение мисс Райан меня вполне устраивает.

— Вот и чудесно, — откликнулась она. — Тогда до встречи в поезде. Если, конечно, визы придут…

К понедельнику, 19 октября, визы и паспорта по-прежнему пребывали в латентном состоянии. Невзирая на это часа в три пополудни по Берлину уже колесило трио заранее заказанных автобусов, забиравших персонал Эвримен-оперы из гостиниц и пансионов на восточно-берлинский вокзал, откуда не то в четыре, не то в шесть, не то в полночь — никто не знал, когда именно — отправлялся советский “Голубой экспресс”.

В холле отеля “Кемпински” собрались те, кого Уорнер Уотсон именовал “наши уважаемые гости”. Это были лица, непосредственно не связанные с “Порги и Бесс”, но приглашенные руководством ехать в Россию вместе с труппой. К ним относились: приятель Брина, нью-йоркский финансист Герман Сарториус; газетчик Леонард Лайонс, которого официальное досье Эвримен-оперы называло “историком труппы”, забыв упомянуть, что он будет по частям отсылать свои исторические записки в “Нью-Йорк Пост”; и еще один журналист, лауреат Пулитцеровской премии Айра Вольферт с женой Хелен. Вольферт работает в “Ридерз Дайджест”, и Брины, которые вырезают и подклеивают все, что пишется о труппе, надеялись, что он напишет для “Дайджеста” статью об их российских похождениях. Миссис Вольферт тоже пишет; она поэтесса. Модернистская, как подчеркнула при знакомстве.

Лайонс нетерпеливо расхаживал по залу в ожидании автобуса.

— Жутко волнуюсь. Ночей не сплю. Перед самым отъездом звонит мне Эйб Бэрроуз — мы соседи — и говорит: “Знаешь, сколько в Москве градусов? По радио сказали, минус сорок”. Это было позавчера. Кальсоны купили? — Он задрал брючину и показал полоску красной шерсти. В обычной жизни Лайонс — человек подтянутый, не толстый, но он так укомплектовался на случай морозов, что роскошная меховая шапка, пальто на меху, перчатки и туфли топорщились на нем, как на магазинном воришке.

— Жена Сильвия купила мне сразу три пары. В Саксе. Которые не кусаются.

Герман Сарториус, одетый, как для Уолл-стрит, в костюме и старомодном пальто, сказал, что у него кальсон нет.

— Ничего не успел купить. Только карту. Когда-нибудь пробовали купить автодорожную карту России? Ну, доложу я вам, работка. Пришлось весь Нью-Йорк перевернуть. Как-никак, а в

поезде хорошо иметь карту. По крайней мере понятно, где находишься.

Лайонс кивнул.

— Только знаете, — сказал он, понизив голос и стреляя по сторонам живыми черными глазами, — никому ее не показывайте. Им может не понравиться. Карта все-таки.

— Гм, — сказал Сарториус, явно не понимая, в чем дело. — Ладно, буду иметь в виду.

Все в Сарториусе — седина, рост, вес, джентльменская сдержанность — внушает доверие — свойство, необходимое финансисту.

— Я тут письмо получил от друга, — продолжал Лайонс. — От президента Трумэна. Пишет, чтобы я там вел себя осторожно, а то он теперь не сможет меня вытащить. Представляете себе, статья, а внизу написано: Россия! — воскликнул он и обвел взглядом собравшихся, как будто ища подтверждения, что они разделяют его восторг.

— Есть хочу, — сказала миссис Вольферт. Муж потрепал ее по плечу. У Вольфертов взрослые дети, и они походят друг на друга розовощекостью, серебряными волосами, а главное — несокрушимым спокойствием давно женатых людей.

— Ничего, Хелен, — сказал он, попыхивая трубкой. — Как сядем в поезд, сразу двинем в вагон-ресторан.

— Точно, — одобрил Лайонс. — Водки и икры.

В зал влетела Нэнси Райан, в распахнутом пальто, с развевающимися волосами.

— Никаких вопросов! Полный кошмар! — прокричала она, после чего, разумеется, остановилась и с удовольствием, с которым сообщают дурные вести, произнесла: — Ничего себе — предупредили! За десять минут до отхода! Вагона-ресторана нет. И не будет до русской границы. Тридцать часов!

— Есть хочу! — простонала миссис Вольферт.

Мисс Райан понеслась дальше, на бегу бросив: “Делается все возможное”. Это означало, что руководство Эврimен-оперы в полном составе прочесывает сейчас берлинские гастрономы.

Темнело, над городом повисла тонкая сетка дождя, когда наконец автобус, набитый перешучивающимися пассажирами, прогромыхал по улицам Западного Берлина к Бранденбургским воротам, откуда начинался коммунистический мир.

Передо мной в автобусе сидела влюбленная пара: хорошенькая актриска труппы и худосочный юнец, считавшийся западногерманским журналистом. Они познакомились в берлинском джаз-погребке, и он, по-видимому, влюбился: во всяком случае, сейчас он провожал ее на вокзал, под шепот, слезы

и приглушенный смех. Когда мы подъехали к Бранденбургским воротам, он заявил, что дальше ехать не может: “Мне опасно переезжать в Восточный Берлин”. Высказывание, как потом выяснилось, крайне любопытное — ибо кто же вынырнул через несколько недель в России, ухмыляясь, хвастаясь и не в силах правдоподобно объяснить свое появление? Тот самый юнец, по-прежнему утверждавший, что он влюблен, журналист и западный немец.

За Бранденбургскими воротами мы минут сорок ехали сквозь черные километры напрочь разбомбленного Восточного Берлина. Автобусы с остальными прибыли на вокзал раньше нас. Мы встретились на платформе, где уже стоял “Голубой экспресс”. Миссис Гершвин в сторонке надзирала за погрузкой своих чемоданов. На ней была шуба из нутрии, а через руку перекинута норковая, в пластиковом мешке на молнии.

— А-а, норка? Это для России, солнышко. Лапушка, а почему он называется “Голубой экспресс”, когда он и не голубой вовсе?

Поезд был зеленого цвета — цепь гладких, темно-зеленых вагонов с дизельным паровозом. На боку у каждого вагона были выписаны желтые буквы “СССР”, а под ними на разных языках — маршрут: Берлин — Варшава — Москва. Перед входом в вагоны высились щеголеватые советские офицеры, в черных каракулевых шапках и приталенных шинелях с раструбами. Рядом стояли одетые победнее проводники. И те и другие курили сигареты в длинных, как у кинозвезд, мундштуках. Они глядели на беспорядочную, возбужденную толчею труппы с каменными лицами, умудряясь сохранять выражение полной незаинтересованности, игнорируя бесцеремонных американцев, которые подходили к ним вплотную и пялились, потрясенные и крайне недовольные тем, что у русских, оказывается, два глаза и нос посередине лица.

Один из исполнителей подошел к офицеру.

— Слушай, парень, — сказал он, показывая на буквы кириллицей, — что значит “СССР”?

Русский нацелил на спрашивающего мундштук, нахмурился и спросил:

— Sind sie nicht Deutch?*

— Старик, — сказал актер, — зачем напрягаться? — Он глянул вокруг и помахал Робину Джоахиму, молодому русскоговорящему ньюйоркцу, которого Эврименопера наняла в поездку переводчиком.

Оба русских заулыбались, когда Джоахим заговорил на их языке; но удовольствие сменилось изумлением, когда он объяснил, что пассажиры поезда — не немцы, а “американски”,

везущие в Ленинград и Москву оперу.

— Удивительно! — сказал Джоахим, поворачиваясь к слушавшей разговор группке, в которой был Леонард Лайонс. — Им вообще о нас не говорили. Они понятия не имеют, что такое “Порги и Бесс”.

Первым оправившись от шока, Лайонс выхватил из кармана блокнот и авторучку:

— Ну, и что? Какова их реакция?

— О, — сказал Джоахим, — они в восторге. Вне себя от радости.

Действительно, русские кивали и смеялись. Офицер хлопнул проводника по плечу и прокричал какой-то приказ.

— Что он сказал? — спросил Лайонс, держа авторучку наперевес.

— Велел самовар поставить, — ответил Джоахим.

На вокзальных часах было пять минут седьмого. Приближался отъезд, со свистками и громыханием дверей. В коридорах поезда из репродукторов грянул марш, и члены труппы, наконец благополучно погрузившиеся, гроздьями повисли в окнах, маша удрученным немецким носильщикам — те так и не получили “капиталистического оскорбления”, каковым, предупредили нас, в народных демократиях считают чаевые. Внезапно поезд взорвался единодушным “ура”. По платформе бежали Брины, а за ними несся фургон с едой: ящики вина и пива, сосиски, хлеб, сладкие булочки, колбаса всех сортов, апельсины и яблоки. Едва все это внесли в поезд, как фанфары взвыли “крещендо”, и Брины, улыбавшиеся нам с отеческим напускным весельем, остались стоять на платформе, глядя, как их “беспрецедентное начинание” плавно уносилось во тьму.

Мое место было в купе № 6 вагона № 2. Купе было больше обычного, и что-то в нем было приятное, несмотря на репродуктор, который полностью не выключался, и синий ночник на синем потолке, который полностью не гас. Стены в купе были синие, окно обрамлено синими плюшевыми занавесками, под цвет сидений. Между полками был столик, а на нем лампа под розовым шелковым абажуром.

Мисс Райан познакомила меня с нашими соседями по купе, которых я раньше не видел, Эрлом Брюсом Джексоном и его невестой Хелен Тигпен.

Джексон — высокий, поджарый, провод под током, с раскосыми глазами, эспаньолкой и мрачным выражением. На каждом пальце у него переливаются кольца, брильянтовые, сапфировые и рубиновые. Мы пожали друг другу руки.

— Спокойно, браток, спокойно. Главное — спокойствие, —

сказал он и продолжал чистить апельсин, не подбирая падавшие на пол корки.

— Нет, Эрл, — сказала мисс Райан, — главное — не спокойствие. Главное — чистота и порядок. Положите корки в пепельницу. В конце концов, — продолжала она, глядя на гаснущие за окном последние одинокие огни Восточного Берлина, — это будет наш дом черт знает сколько времени.

— Вот именно, Эрл. Дом, — сказала мисс Тигпен.

— Спокойно, браток, спокойно. Главное — без напряга. Так ребятам в Нью-Йорке и передай, — сказал Джексон, выплевывая косточки.

Мисс Райан начала раздавать ингредиенты бриновского "пикника в последнюю минуту". От пива и сэндвича с колбасой мисс Тигпен отказалась.

— Прямо не знаю, чем питаться. Ничегошеньки для моей диеты. Мы когда с Эрлом познакомились, я села на диету и спустила пятьдесят шесть фунтов. Пять ложек икры — это сто калорий.

— Да бросьте, ради бога, это же не икра, — сказала мисс Райан, набивая рот сэндвичем с колбасой.

— Я вперед думаю, — угрюмо ответила мисс Тигпен и зевнула. — Никто не против, если я влезу в пеньюар? Хоть устроиться поудобнее.

Мисс Тигпен — концертная певица, поступила в труппу четыре года назад. Это маленькая, пухленькая, обильно пудрящаяся женщина. Она ходит на высоченных каблуках, носит громадные шляпы и выливает на себя тонны "Джой" ("самые дорогие духи на свете").

— Ну, класс, кошечка, — сказал Джексон, любуясь тем, как его невеста устраивается поудобнее. — Выигрышный номер — семь семь три, главное — спокойствие. Убль-ди-ду-у!

Мисс Тигпен пропустила эти комплименты мимо ушей.

— Эрл, — спросила она, — ведь правда, это было в Сан-Паулу?

— Что "это"?

— Где мы обручились.

— У-гу. Сан-Паулу, Бразилия.

Мисс Тигпен облегченно вздохнула.

— Так и сказала мистеру Лайону. Он спрашивал. Это такой, который пишет в газету. Ты с ним знаком?

— У-гу, — сказал Джексон. — Покорешили чуток.

— Вы, может, слышали? — обратилась ко мне мисс Тигпен. — Насчет нас. Что мы в Москве повенчаемся. Это все Эрл придумал. Сама-то я даже не знала, что мы помолвлены. Пятьдесят шесть

фунтов спустила — и знать не знала, что мы помолвлены, пока Эрл не придумал повенчаться в Москве.

— Шум на весь мир. — Джексон прищелкивал сверкающими от перстней пальцами, однако говорил медленно и серьезно, явно высказывая заветную мысль. — Первые американские черные в истории женятся в Москве. На всех первых страницах. По телику. — Он повернулся к мисс Тигпен. — И нечего трепать языком. Главное, чтобы магнитные вибрации были правильные. Это тебе не шутка: чтобы вибрации подходили.

— Вы бы видели жениховский костюм Эрла, — сказала мисс Тигпен. — Сшил на заказ в Мюнхене.

— Обалденный, — сказал Эрл. — Это что-то. Фрак коричневый, с персиковыми атласными отворотами. Штиблеты, само собой, под цвет. Плюс пальто с этим, как его, каракулевым воротником. Но, друг, до великого дня никто даже одним глазком не увидит.

Я спросил о дате великого дня, и Джексон признался, что точного числа пока нет.

— Всем мистер Брин занимается. Разговаривает с русскими. Для них это большое дело.

— Еще бы, — сказала мисс Райан, подбирая с пола апельсиновые корки. — Наконец-то все узнают, что есть на свете такая страна — Россия.

Мисс Тигпен, уже в пеньюаре, улеглась на полку и приготовилась изучать ноты; но что-то ее точило, не давало сосредоточиться.

— Я вот все думаю, это ведь не будет иметь силы. У нас там в некоторых штатах, если пожениться в России, это не имеет силы.

— В каких штатах? — спросил Джексон, явно возобновляя надоевший спор.

Мисс Тигпен подумала и сказала:

— В некоторых.

— В Вашингтоне это имеет силу, — вдалбливал он ей. — А Вашингтон — твой родной город. Ну, так если это имеет силу в твоем родном городе, с чего базар?

— Эрл, — устало сказала мисс Тигпен, — может, сходишь, поиграешь с ребятами в тонк, а?

Тонком называлась игра, популярная среди некоторых слоев труппы: вариант с пятью картами. Джексон пожаловался, что партию составить невозможно.

— Даже пулю расписать негде. Специалисты (играющие) на койках вперемешку с фрайерами (не играющими).

Открылась дверь купе, и бутафор труппы Даки Джеймс, белокурый, мальчишеского вида англичанин, проходя мимо,

объявил на своем кокни:

— Если кто хочет выпить, то мы у себя устроили бар. Мартини… Манхэттен… Виски…

— Даки-то! — сказала мисс Тигпен. — Вот кому счастье! Понятно, что он выпивку раздает. Знаете, чего было? За минуту до отъезда приходит телеграмма. Тетка умерла и оставила ему девяносто тысяч фунтов.

Джексон присвистнул.

— Это настоящими деньгами сколько?

— Двести семьдесят тысяч долларов. Или вроде того, — объяснила мисс Тигпен и, увидев, что ее суженый встает и собирается выйти из купе, спросила: — Ты куда, Эрл?

— Да вот, пойду перемолвлюсь с Даки — может, сыграем в тонк.

Вскоре к нам пожаловала Тверп, белоснежный щенок боксерской породы. Она весело вбежала в купе и тут же доказала полное незнакомство с санитарией и гигиеной. Следом появилась ее хозяйка, заведующая костюмерной, молодая женщина из Бруклина по имени Мэрилин Путнэм.

— Тверп, Тверп! — звала она. — Ах, вот ты где, негодяйка такая! Негодяйка, ведь правда?

— Правда, — сказала мисс Райан, ползая по ковру и оттирая пятно газетой. — Нам тут жить все-таки. Только этого не хватало.

— Русские не возражают, — заявила мисс Путнэм. Она взяла щенка на руки и поцеловала в лобик. — Тверп плохо себя вела по всему коридору — да, солнышко мое? — а русские только улыбаются. Понимают, что она еще совсем крошка, не то что некоторые. — Она повернулась уходить и чуть не налетела на девушку, которая стояла за дверью и плакала. — Ой, Делириос, милая, — вскрикнула она, — что случилось? Тебе нехорошо?

Девушка отрицательно покачала головой. Подбородок ее задрожал, и громадные глаза наполнились слезами.

— Делириос, не переживай, детонька, — сказала мисс Тигпен. — Присядь-ка — вот так — и рассказывай, в чем дело.

Девушка села. Это была хористка по имени Долорес Сонк; но, как почти все исполнители, она имела прозвище, в данном случае весьма точное: Делириос — И смех и грех. У нее были рыжие волосы, мелко завитые, как у пуделя, и бледно-золотистое лицо, такое же круглое, как глаза, с тем невинным выражением, какое бывает у хористок. Она глотнула и прорыдала:

— У меня пальто пропало! Синее. И шуба. На вокзале остались. Ни страховки, ничего.

Мисс Тигпен прищелкнула языком.

— На такое только ты способна, Делириос.

— Да я тут ни при чем, — сказала мисс Сонк. — Страх такой… Понимаешь, меня забыли. Я автобус пропустила. Представляешь, как жутко было бегать по улицам, искать такси? Да еще никто не хотел ехать в Восточный Берлин. Спасибо, нашелся один, который говорил по-английски, так он меня пожалел и говорит, ну ладно, отвезу. Это был просто ужас какой-то. Полицейские нас все время останавливают, и спрашивают, и требуют документы, и — бог ты мой, я уже так и решила, что останусь там, в темноте — глаз выколи, с полицией, с коммунистами и бог знает с кем еще. Думаю, вас мне больше не видать, это точно.

Рассказ об этом “хождении по мукам” вызвал новый взрыв рыданий. Мисс Райан плеснула девушке бренди, а мисс Тигпен погладила ее по руке и сказала:

— Все будет хорошо, детонька.

— Нет, но ты представляешь мое состояние? И вот приезжаю на вокзал — а там вы все стоите! Без меня не уехали. Счастье какое! Прямо хоть всех перецелуй. Ну, я отложила на минутку пальто и давай целовать Даки. Целую его, а про пальто и забыла! Только сейчас вспомнила.

— Знаешь что, Делириос? — сказала мисс Тигпен, по-видимому, подыскивая слова утешения. — Ты на это так смотри, что ты необычная: в Россию поехала без пальто.

— Мы тут все уникальные, — сказала мисс Райан. — У всех винтиков не хватает. Только вдумайтесь — катим в Россию без единого паспорта. Ни виз, ни паспортов — ничегошеньки.

Полчаса спустя эти утверждения потеряли смысл, ибо, когда поезд остановился во Франкфурте-на-Одере, где проходит германо-польская граница, какие-то официальные лица вошли в поезд и вывалили на колени Уорнеру Уотсону кучу долгожданных паспортов.

— Ничего не понимаю, — говорил Уотсон, горделиво расхаживая по поезду и раздавая паспорта. — Не далее как сегодня утром мне сказали в русском посольстве, что паспорта отправились в Москву, — и вдруг они появляются на польской границе.

Мисс Райан быстро пролистала свой паспорт и обнаружила, что страницы, где должна быть оттиснута русская виза, пусты.

— О господи, Уорнер! Тут пусто!

— Они дали общую визу на всех. Дали или дадут, не спрашивайте, — сказал Уорнер, и его робкий, усталый голос перешел в хриплый шепот. Лицо у него было серое, лиловые мешки под глазами выделялись, как грим.

— Уорнер, но ведь…

Уотсон протестующе поднял руку.

— Я уже не человек, — сказал он. — Мне надо лечь. Немедленно ложусь спать и не встану до Ленинграда.

— Что ж, ничего не поделаешь, — сказала мисс Райан, когда Уотсон исчез. — Ужасно обидно, что у нас не будет штампа в паспорте. Люблю сувениры.

По расписанию поезду полагалось стоять на границе сорок минут. Я решил выйти и осмотреться. В конце вагона обнаружилась открытая дверь, и я по крутым железным ступенькам спустился на рельсы. Далеко впереди виднелись вокзальные огни и мглистый красный фонарь, раскачивавшийся из стороны в сторону. Но там, где был я, царила полная тьма, только светились желтыми квадратами окна вагонов. Я шел по путям, с удовольствием ощущая свежий холод, и раздумывал, где я — в Германии или в Польше. Внезапно из тьмы выделились бегущие ко мне фигуры, группа теней, которые, надвигаясь, превратились в трех солдат, бледных, плосколицых, в неудобных шинелях до щиколотки, с винтовками на плече. Все трое безмолвно уставились на меня. Затем один из них показал на поезд, хмыкнул и жестом приказал мне лезть обратно. Мы строем двинулись назад, и я по-английски сказал, что приношу извинения, но не знал, что пассажирам из вагонов выходить не разрешается. Ответа не последовало — только хмыканье и жест рукой вперед. Я влез в вагон и, повернувшись, помахал им. Ответного взмаха не было.

— Вы выходили? Не может быть, — сказала миссис Гершвин, когда я шел к себе мимо ее купе. — Не надо, солнышко. Это опасно.

Миссис Гершвин занимала отдельное купе. Таких в поезде было только двое: она и Леонард Лайонс, который пригрозил, что не поедет, если от него не уберут соседей, Сарториуса и Уотсона.

— Ничего против них не имею, — говорил он, — но мне надо работать. Я обязан выдавать на-гора тысячу слов в день. А когда вокруг толкотня, писать невозможно.

Сарториусу и Уотсону пришлось переехать к супругам Вольвертам. Что касается миссис Гершвин, то она ехала одна потому, что, как считало руководство, “ей так положено. Она все-таки Гершвин”.

Миссис Гершвин переоделась в брюки и свитер, волосы перехвачены ленточкой, на ногах — пушистые шлепанцы, но брильянты были на месте.

— На улице, должно быть, мороз. Снег лежит. Вам надо выпить горячего чаю. М-м-м, чудно, — продолжала она, потягивая темный, почти черный чай из стакана в серебряном

подстаканнике. — Этот миляга заваривает чай в самоваре.

Я отправился на поиски чайного человека, проводника из вагона № 2; но, найдя его в конце коридора, обнаружил, что ему приходится бороться не только с раскаленным самоваром. Под ногами у него вертелась Тверп, заливаясь лаем и хватая его зубами за штаны. Кроме того, он подвергался интенсивному допросу со стороны репортера Лайонса и переводчика Робина Джоахима. Маленький, худенький, изможденный русский напоминал болонку. Его вдавленное лицо было иссечено морщинами, говорившими не о возрасте, а о недоедании. Рот его был полон стальных коронок, веки то и дело закрывались, как будто он вот-вот заснет. Раздавая чай и отбиваясь от Тверп, он отвечал на выстреливаемые Лайонсом вопросы, как измученная домохозяйка — переписчику. Он из Смоленска. У него болят ноги и спина, и вечно болит голова от переработки. Он получает всего 200 рублей в месяц (50 долларов, но по реальной покупательной способности — гораздо меньше) и считает, что ему недоплачивают. Да, чаевые были бы очень кстати.

Лайонс на минуту перестал записывать и сказал:

— Вот не знал, что им разрешается жаловаться. Послушать его — так он всем недоволен.

Проводник дал мне стакан чаю и предложил сигарету из смятой пачки. Она состояла на две трети из фильтра и годилась на семь-восемь затяжек, но мне не довелось их сделать, потому что, когда я шел к себе в купе, поезд внезапно так качнуло, что стакан и сигарета разлетелись в разные стороны.

В коридор высунулась голова Мэрилин Путнэм.

— Боже мой, — сказала она, обозревая осколки. — Неужто это все Тверп?

В купе № 6 были уже застелены постели на ночь — точнее, на всю поездку, поскольку их ни разу не перестилали. Грубые чистые простыни, хрустящая подушка, пахнущая сеном, одно-единственное тонкое одеяло. Мисс Райан и мисс Тигпен лежали в постели и читали, приглушив, насколько возможно, радио и на палец приоткрыв окно.

Мисс Тигпен зевнула и спросила:

— Эрла не видели, миленький?

Я сказал, что видел.

— Он учит Даки играть в тонк.

— Понятно, — сонно хихикнула мисс Тигпен. — Значит, до утра не вернется.

Я скинул туфли и лег, решив, что минутку полежу, а потом уже разденусь. Наверху, надо мной, мисс Райан что-то бормотала, как будто читая вслух. Оказалось, она учит русский по старому

разговорнику, выпущенному американской армией во время войны, на случай, если американские солдаты соприкоснутся с русскими.

— Нэнси, — сказала мисс Тигпен, как ребенок, который просит перед сном сказку, — Нэнси, скажи что-нибудь по-русски.

— Я только одно выучила: “Органы — йа ранен... — мисс Райан запнулась, потом набрала воздуху: — в палавыйе”. Ух-х! мне хотелось просто выучить алфавит. Чтоб читать вывески.

— Здорово, Нэнси. А что это значит?

— Это значит “меня ранило в половые органы”.

— Господи помилуй, — сказала мисс Тигпен, совершенно сбитая с толку, — на что это тебе?

— Спи, — ответила мисс Райан и погасила ночник.

Мисс Тигпен снова зевнула и подтянула одеяло к подбородку.

— И правда, поспать, что ли?

Вскоре, лежа на нижней полке, я почувствовал, как по поезду движется тишина. Она просачивалась в вагоны, подобно зимней синеве лампочки. В углах окна появились морозные узоры; они походили на паутину, сплетенную изнутри. Из приглушенного радио доносилось дрожание балалаек; и странным, одиноким контрапунктом к ним кто-то неподалеку наигрывал на губной гармошке.

— Слышите? — прошептала мисс Тигпен. — Это Джуниор. — Имелся в виду Джуниор Миньят, актер труппы, которому не было еще и двадцати. — Знаете, почему парнишке так одиноко? Он из Панамы. Никогда снега не видел.

— Спи, — приказала мисс Райан.

Вой северного ветра в окне, казалось, повторил ее повеление. Поезд с воплем влетел в туннель. Для меня, так и заснувшего не раздевшись, туннель этот оказался длиной в ночь.

Разбудил меня холод. Через крохотные щелки в окно влетал снег. Под моей полкой его накопилось столько, что можно было слепить снежок. Я встал, порадовавшись, что спал не раздеваясь, и закрыл окно. Оно заледенело. Я протер во льду дырочку и выглянул. Снаружи на краю неба намечались первые признаки восхода, но было еще темно, и полоски утреннего света напоминали золотых рыбок, плавающих в чернилах. Мы находились на окраине какого-то города. Деревенские, освещенные лампами домики сменились бетонными кварталами одинаковых, одинаково заброшенных многоквартирных домов. Поезд прогромыхал по мосту над улицей; внизу, под нами, кренился на повороте, как рахитичный бобслей, старенький трамвай, набитый ехавшими на работу людьми. Через секунду мы подъехали к вокзалу — как я понял, Варшавы. На заснеженной,

плохо освещенной платформе кучками стояли люди, притоптывая и похлопывая себя по ушам. К одной кучке подошел наш проводник-чаетворец. Он показал на поезд и что-то сказал, отчего все засмеялись. Воздух взорвался паром от их дыхания. Все еще смеясь, несколько человек направились к поезду. Я снова забрался в постель, так как понял, что они собираются поглядеть на нас в окошко. Одно за другим искаженные лица расплющивались о стекло. Тут же раздался короткий вскрик. Он донесся из купе впереди, и похоже было, что кричит Долорес Суонк. Неудивительно, что она вскрикнула, проснувшись и увидев маячащую в окне ледяную маску. Моих спутниц крик не разбудил; я подождал, ожидая переполоха, но в вагоне опять воцарилась тишина. Только Тверп начала лаять через правильные промежутки времени, отчего я снова заснул.

В десять, когда я открыл глаза, мы находились в пустынном хрустальном мире заледенелых рек и занесенных снегом полей. Белизну там и сям, как узоры на бумаге, расчерчивали полосы елок. Стаи ворон скользили по прочному, ледяному, сияющему небу как на коньках.

— Слушай сюда, — сказал Эрл Брюс Джексон; он только что проснулся и глядел в окно, сонно почесываясь. — Помяни мое слово: здесь апельсины не растут.

Умывалка вагона № 2 являла собой унылое неотапливаемое помещение с заржавелой раковиной и кранами для холодной и горячей воды. К несчастью, из обоих сочилась тоненькая ледяная струйка. В то первое утро у дверей умывалки собралась длиннющая очередь мужчин, с зубной щеткой в одной руке и бритвенным прибором в другой. Даки Джеймс сообразил попросить проводника, деловито раздувавшего угли под самоваром, расстаться с некоторым количеством кипятка, чтобы “ребята хоть побрились как следует”. Все решили, что это прекрасная мысль, — но русский, когда ему перевели нашу просьбу, поглядел на самовар так, как будто тот кипел расплавленными брильянтами.

Затем произошло нечто странное. Он подошел к каждому по очереди и легонько провел пальцами по нашим щекам, проверяя заросшесть. В этом прикосновении была доброта, надолго запоминавшаяся.

— Ух ты, миляга, — сказал Даки Джеймс.

Но, завершив свои изыскания, проводник отрицательно покачал головой. Nyet, никаких, он свой кипяток ни за что не отдаст. Джентльмены не настолько заросли, чтобы оправдать такую жертву, да и вообще “разумный” человек должен понимать, что в пути бриться не придется.

— Это вода для чая, — сказал он. — Сладкого, горячего, душу согреть.

Дымящийся стакан кипятка отправился со мной в умывалку. С его помощью я почистил зубы, после чего, опустив в стакан мыло, превратил его в крем для бритья. Получилось липко, но от этого ничуть не хуже.

Покончив с умыванием, свежий как огурчик, я отправился наносить визиты. Леонард Лайонс, занимавший купе № 1, был поглощен профессиональным тет-а-тетом с Эрлом Брюсом Джексоном. Этот последний, явно больше не опасаясь “плохих вибраций”, в красках описывал предстоящее московское венчание.

— Блестяще. Просто блестяще, Эрл, — приговаривал Лайонс, вовсю работая авторучкой. — Фрак коричневый. Отвороты кремовые атласные. Так, теперь кто у нас будет шафером?

Джексон сказал, что пригласил на эту роль Уорнера Уотсона. Лайонсу его выбор, похоже, пришелся не по душе.

— Слушайте, — сказал он, постукивая Джексона по коленке, — а вы не думали пригласить кого-нибудь посолиднее?

— Вроде вас?

— Вроде Хрущева, — сказал Лайонс. — Или Булганина.

Глаза у Джексона сузились, как будто он решал, всерьез это Лайонс или разыгрывает?

— Вообще-то я уже Уорнера пригласил. Но, может быть… если дело так повернется…

— Уорнер поймет, — сказал Лайонс. — Это точно.

Однако Джексона одолевали сомнения.

— Думаете, мистер Брин мне заполучит этих котяр?

— Попытка не пытка, — сказал Лайонс. — Чем черт не шутит — вдруг выгорит, и вы попадете на первую страницу.

— C’est уубли-и-дуу, — сказал Джексон, взирая на Лайонса с безграничным восхищением. — Это вообще, мужик.

Затем я нанес визит Вольфертам. Они делили купе с Сарториусом и Уотсоном — парой, которую Лайонс выжил, причем Уотсона — дважды. Уотсон крепко спал, не зная о грозящей ему отставке в качестве Джексонова шафера. Сарториус и Айра Вольферт сидели, расстелив на коленях громадную карту, а миссис Вольферт, кутаясь в шубу, склонилась над рукописью. Я спросил, не ведет ли она дневник.

— Веду, конечно. Но это — стихи. Я над ними работаю с января. Думала, закончу в поезде. Но при моем самочувствии… Всю ночь не спала, — сказала она упавшим голосом. — Руки как лед. Голова кругом идет от впечатлений. Не понимаю, где я нахожусь.

Сарториус длинным тонким пальцем ткнул в точку на карте.

— Сейчас скажу. Только что Лидице проехали. Еще пять часов по Польше, а там — Брест-Литовск.

Брест-Литовск была первая остановка в России. Там должно было произойти множество событий. Колеса поезда сменят на другие, годные для ширококолейных российских рельсов; прицепят вагон-ресторан; а главное — труппу встретят представители Министерства культуры и вместе с нами отправятся в Ленинград.

— Знаете, что мне это напоминает? — сказал Айра Вольферт, указывая трубкой на суровый пейзаж. — Некоторые места в Америке. На Западе.

Сарториус кивнул.

— Вайоминг в зимнее время.

В коридоре я наткнулся на мисс Райан, в красной фланелевой ночной рубашке. Она прыгала на одной ноге, нечаянно наступив на образчик дурного поведения Тверп.

— Доброе утро, — сказал я.

— Не прикасайся, — ответила она и пропрыгала к умывалке.

После этого я зашел в вагон № 3, где разместились семейные — родители с детьми. Было послешкольное время; иначе говоря, утренние уроки только что закончились, и дети были настроены поразвлечься. В воздухе носились бумажные самолетики. На заиндевелых окнах пальцами рисовались карикатуры. Русский проводник, еще более унылый и затравленный, чем его коллега из вагона № 2, так замотался, охраняя советское имущество, что не заметил, что творится с самоваром. Его оккупировали двое маленьких мальчиков, поджаривавших на углях сосиски. Один из них, Дэви Бей, предложил мне кусочек.

— Вкусно, а?

Я сказал, что очень. Если мне так нравится, заявил он, то я могу доесть остальное: он уже съел пятнадцать штук.

— Волков видел? — спросил он.

— Не сочиняй, Дэви, — сказала девочка постарше, Гейл Барнс. — Никакие это были не волки, самые обыкновенные собаки.

— А вот и волки, — сказал Дэви, курносый мальчуган с плутовским прищуром. — Все видели. Из окошка. Они похожи были на собак. Вроде собак, только поменьше. И они что делали — гонялись по снегу кругами. Вроде как играли. Я хотел одного застрелить. Во-о-о-лки! — завопил он и ткнул меня в живот ковбойским пистолетиком.

Гейл выразила надежду, что я все понимаю.

— Дэви еще совсем ребенок.

Гейл — дочь Ирвинга Барнса, одного из исполнителей роли Порги. Ей одиннадцать лет, она самая старшая из шестерых детей, которые исполняют мелкие роли в спектакле. От этого у нее развилось ощущение старшей сестры, отвечающей за остальных. Ее обращение с ними отличается добродетельной твердостью, вежливостью и взрослостью, которым позавидует любая гувернантка.

— Простите, — сказала она, глядя в коридор, где ее подопечные ухитрились открыть окно, впустив порывы арктического ветра. — Боюсь, придется это прекратить.

Но, не успев осуществить свою миссию, Гейл вдруг сама превратилась в ребенка.

— Ой, глядите! — завопила она, высовываясь из того самого окна, которое собиралась закрыть. — Ребята, глядите… люди!

“Люди” были двое детишек на коньках, бежавших по длинной ленте пруда на краю заснеженной рощи. Они бежали быстро-быстро, пытаясь не отстать от поезда, и, когда он просвистел мимо, протянули к нему руки, как будто ловя приветственные клики и воздушные поцелуи, посылавшиеся Гейл с приятелями.

Между тем русский проводник обнаружил, что из его самовара валит дым. Он выхватил обгоревшие сосиски из огня и швырнул на пол. Затем, сунув в рот обожженные пальцы и употребляя, судя по тону, весьма горячие выражения, отогнал детей от окна и рывком его закрыл.

— Да брось ты кукситься, — сказал Дэви. — Тут клево!

В купе № 6 на столе (и на ковре) валялись остатки завтрака: кусочки сыра и обрезки фруктов. Послеполуденное солнце сверкало в стакане кьянти, который крутила в руке мисс Райан.

— Обожаю вино, — сказала она страстно. — С двенадцати лет. Серьезно. Чудом не спилась.

Она отпила глоток и вздохнула от удовольствия, выражавшего общий настрой. Мисс Тигпен с женихом, явно тоже попробовавшие кьянти, устроились в уголке, ее голова лежала у него на плече. Царила дремотная тишина, которую прервал стук в дверь и голос:

— Приехали. Россия.

— Все по местам, — сказала мисс Райан. — Представление начинается.

За окном возникли первые признаки приближения границы: голые деревянные вышки, вроде тех, что окружают уголовные лагеря Юга. Далеко отстоя друг от друга, они шагали по пустынному пространству, как гигантские телеграфные столбы. На ближайшей к нам вышке я разглядел человека, смотревшего в бинокль на наш поезд. Поезд между тем на повороте постепенно

замедлял ход и наконец остановился. Мы находились на сортировочной станции, в лабиринте путей и товарных вагонов. Это была советская граница, в сорока минутах от Брест-Литовска.

На путях стада женщин, закутанных в платки как в чадру, но шерстяную, ломами расчищали лед, останавливаясь только чтобы высморкаться в ободранные красные ладони. Лишь немногие мельком глянули на “Голубой экспресс”, да и те навлекли на себя острые взгляды многочисленных милиционеров, без дела стоявших вокруг, сунув руки в карманы шинелей.

— Ужас какой, — сказала мисс Типпен. — Дамы работают, а мужчины стоят и смотрят. Как не стыдно!

— Вот так-то, детка, — сказал Джексон, подышав на рубиновый перстень и полируя его рукавом. — Здесь каждый мужик — Кайфолов.

— Попробовали бы со мной так обращаться, — ответлиа мисс Типпен с ноткой угрозы в голосе.

— Но мужчины-то, мужчины — один другого лучше! — сказала мисс Райан. Ее интерес привлекли двое офицеров, расхаживавших взад и вперед под нашим окном: высокие сильные молчаливые типы с тонкими губами и грубыми, обветренными лицами. Один из них поднял голову и, увидев синие глаза и длинные золотистые волосы мисс Райан, сбился с шага.

— Ох, какой это будет ужас! — плачущим голосом сказала мисс Райан.

— Если что, детонька? — спросила мисс Типпен.

— Если я влюблюсь в русского, — сказала мисс Райан, — полная хана. Мама говорила, что с меня станется. Она сказала, если влюбишься в русского, домой не возвращайся. Но, — продолжала она, и взгляд ее снова обратился к офицеру, — если они все такие…

Однако поклоннику мисс Райан пришлось внезапно забыть о флирте, ибо он превратился в рядового небольшой русской армии, пустившейся на ловлю Робина Джоахима. Джоахим, не скрывавший своей страсти к фотографии, в нарушение правил вылез из поезда да еще усугубил свой проступок, попытавшись поснимать. Теперь он зигзагами бежал по путям, еле увернувшись от женщины, которая гневно замахнулась на него лопатой, и чуть не попав в руки охранника.

— Хорошо бы его поймали, — холодно заметила мисс Райан. — Вместе с его чертовым фотоаппаратом. Так и знала, что из-за него у нас будут неприятности.

Однако Джоахим оказался в высшей степени сообразительным молодым человеком. Ускользнув от преследователей, он рывком впрыгнул в поезд, бросил под полку

пальто, кепку и фотоаппарат и, окончательно изменив внешность, сорвал роговые очки. Через несколько секунд, когда поезд взяли на абордаж разгневанные русские, он преспокойно вызвался переводить и помогать им искать виновного, для чего пришлось обойти по очереди все купе. Меньше всех веселился Уорнер Уотсон, которого шум пробудил от глубокого сна. Он поклялся, что задаст Джоахиму хорошую взбучку. По его словам, “так не начинают культурный обмен”.

Из-за инцидента поезд продержали на сортировочной лишних сорок пять минут. Не обошлось без последствий и для Тверп, ибо русские пришли в ужас, увидев, во что превратился вагон № 2. Как рассказывала потом Мэрилин Путнэм: “Я с ними не церемонилась. Так прямо и говорю: нас, говорю, не выпускают из поезда, чего вы хотите? Ну, они и заткнулись”.

К Брест-Литовску мы подъехали в светящиеся сумерки. Вдоль последней, привокзальной мили путей выстроились, приветствуя нас, памятники политикам, посеребренные, как дешевые сувениры из “Вулворта”. Вокзал стоял на возвышенности, с которой открывался вид на город, темно-синий, с православным собором вдали, чьи луковичные купола и мозаичные башни светились восточными красками, невзирая на надвигавшуюся темноту.

Ходили слухи, что здесь нам разрешат сойти с поезда и, может быть, даже прогуляться по городу, пока будут менять колеса и прицеплять вагон-ресторан. Больше всех этого хотел Леонард Лайонс: “Невозможно выдавать на-гора тысячу слов в день, сидя в поезде. Мне сюжеты нужны!” Более того, Лайонс уже знал, какие именно. Ему требовалось, чтобы исполнители гуляли по Брест-Литовску, распевая спиричуэл. “Вот это сюжет. Это реклама. Удивляюсь, как Брин не додумался”.

На остановке двери поезда действительно отворились, но тут же затворились снова, впустив делегацию Министерства культуры в составе пяти человек.

В числе этих эмиссаров была средних лет женщина с выбивающимися из прически мышиного цвета волосами и по-матерински добродушным видом — если бы не глаза. Глаза, тускло-серые, с молочно-белыми точками, смотрели взглядом мумии, не вязавшимся с бодрым выражением лица. На ней было черное пальто и порыжелое черное платье, провисавшее на груди под тяжестью розочки из слоновой кости. Представляя себя и остальных, она перечисляла имена и фамилии без единой паузы, скороговоркой, какой торговец расхваливает свой товар: “Познакомьтесь, пожалуйста: СашаМенашаТемкинКеринскийИворсИвановичНиколайСавченкоПлесиш

Впоследствии американцы разделят и упростят все эти имена-отчества, превратив их обладателей в знакомых и понятных мисс Лидию, Генри, а также Сашу и Игоря, двух юнцов, мелких министерских сошек, которые, как и немолодая мисс Лидия, были приставлены к труппе в качестве переводчиков. Но пятого члена квинтета, Николая Савченко, язык не повернулся бы назвать Ником.

Савченко, крупному чину в министерстве, поручено было ведать гастролями “Порги и Бесс”. Несмотря на чуть срезанный подбородок, чуть навыкате глаза и склонность к полноте, он являл в высшей степени импозантную фигуру — более шести футов росту, с суровой, не допускающей фамильярности манерой и рукопожатием молотобойца. Рядом с ним его юные подчиненные казались хилыми ребятишками, хотя Саша и Игорь были здоровенными парнями, у которых плечи распирали меховые воротники пальто; а Генри, крошечное паукообразное существо с ушами, красными до лиловости, возмещал недостаток роста яркостью личности.

Не приходилось удивляться, что молодые люди при первой встрече с западными людьми не очень знают, что делать; понятно было, что им боязно пускать в ход английский, выученный в Московском институте иностранных языков и никогда еще не проверявшийся на иностранцах; простительно, что они таращились на американцев, как на пешек в шахматной задаче. Но даже Савченко, казалось, настолько не по себе, что он предпочел бы своим нынешним обязанностям срок на Лубянке. Это, конечно, тоже было извинительно, но все-таки в высшей степени странно, если учесть, что во время войны он два года проработал консулом в советском посольстве в Вашингтоне. Однако и для него американцы были, по-видимому, такой новинкой, что он притворился, будто не говорит по-английски. Он произнес на грубоватом русском языке краткую приветственную речь, которую затем перевела мисс Лидия: “Надеемся, у всех у вас поездка прошла приятно. Жаль, что вы видите нас зимой. Это не лучшее время года. Но у нас есть поговорка: лучше поздно, чем никогда. Ваш визит — это шаг вперед по пути к миру. Когда говорят пушки, музы молчат; когда молчат пушки, музы слышны”.

Фраза “музы — пушки”, оказавшаяся впоследствии излюбленным выражением Савченко, кульминацией всех его будущих речей, страшно понравилась слушателям (“Какая прелесть!”, “Здорово, мистер Савченко!”, “Круто!”), и Савченко, разгоряченный успехом и чуть расслабившийся, решил, что, пожалуй, незачем держать труппу взаперти. Может быть, гости не

откажутся выйти и посмотреть, как меняют колеса?

Оказавшись на платформе, Лайонс стал агитировать за то, чтобы исполнители тут же устроили импровизированный концерт. Однако температура снаружи — минус десять градусов — не настраивала на пение. Большинство из тех, кто был счастлив наконец-то выбраться из “Голубого экспресса”, после нескольких минут на морозе, отпихивая друг друга, полезли обратно. Оставшиеся здоровяки стояли и смотрели, как в наступающей тьме рабочие обоего пола отцепляют вагоны и поднимают их домкратами на высоту человеческого роста. После этого из-под поезда в облаке искр выкатывали старые колеса, а с другой стороны вкатывали новые, ширококолейные. Айра Вольверт назвал эту операцию “очень хорошо проведенной”; Герман Сарториус — “в высшей степени впечатляющей”; зато мисс Райан заявила, что это “скучища — умереть можно” и что если я пойду с ней на вокзал, она поставит мне порцию водки.

Нас никто не пытался остановить. Мы пересекли ярдов сто путей, прошли по земляному проходу между складами и оказались на чем-то среднем между рыночной площадью и автомобильной стоянкой. Она была уставлена ярко освещенными киосками, напоминавшими свечи на именинном пироге. Как выяснилось, во всех киосках по непонятной причине продавалось одно и то же: банки с консервированной лососиной “Красная звезда”, баночки сардин “Красная звезда”, запыленные флаконы духов “Кремль”, пыльные коробки конфет “Кремль”, соленые помидоры, волосатые плиты сырого бекона, шлепнутые между ломтями хлеба цвета сажи, неведомые напитки и булочки, вызывавшие почему-то уверенность, что их испекли в июле. Все киоски вели бойкую торговлю, но самого желанного товара ни в одном из них не было. Он находился в руках у частника, старого коробейника-китайца, несшего лоток с яблоками. Яблоки были такие же крохотные и сморщенные, как он сам, но, когда исчезло последнее, очередь явно была безутешна. В дальнем конце площади была лестница, ведущая в здание вокзала. Китаец, сложив пустой лоток, направился туда и уселся на ступеньках рядом с приятелем. Приятель оказался нищим в старой армейской ушанке, с парой костылей, раскинутых, как крылья подбитой птицы. Каждый третий-четвертый из проходящих кидал ему монетку. Китаец тоже дал ему нечто. Это было яблоко. Он оставил одно для нищего и одно — для себя. Приятели сидели и грызли яблоки, прижавшись друг к другу на пронизывающем холоде.

Непрекращающийся плач паровозных гудков, казалось, сплавил едоков яблок, киоски, прохожих, бесшумных, как летучие

мыши, со скрытыми мехом лицами, в единый дымный образ скорбного стона.

— В жизни не тосковала по дому. Ни одной минуты, — сообщила мисс Райан. — Но иногда, господи боже ты мой, — сказала она, взбегая по ступенькам и распахивая вокзальную дверь, — иногда вдруг понимаешь, как далеко ты от дома.

Брест-Литовск — один из стратегически важнейших железнодорожных узлов России, поэтому и вокзал в нем — один из крупнейших в стране. Ища, где бы выпить, мы до тонкости изучили высоченные коридоры и серию залов ожидания, в том числе главный, с красивыми дубовыми скамьями, на которых сидело множество пассажиров с немногими пожитками. На коленях они держали детей и бумажные свертки. Идти по каменному полу, промокшему от черной слякоти, было скользко, и в воздухе стоял специфический запах, такой плотности, что казался уже не запахом, а давлением. Приезжающие в Венецию часто замечают, какой силы там запахи. В России общественные места — вокзалы и универмаги, театры и рестораны — тоже отличаются мгновенно узнаваемыми запахами. Как сказала, понюхав воздух, мисс Райан: “Ух ты, не хотела бы я флакон такого. Старые носки и миллион зевков”.

В поисках бара мы стали наугад открывать двери. Впорхнув в одну из них, мисс Райан тут же выпорхнула обратно: это была мужская уборная. После чего, заметив пару мертвецки пьяных личностей, выходивших из красной дверцы, решила: “Сюда-то нам и надо”.

За красной дверцей находился совершенно невероятный ресторан. Он был размером с гимнастический зал и выглядел так, как будто его украшал для выпускного вечера школьный родительский комитет с викторианскими вкусами. Стены были задрапированы алым плюшем. Люстры времен прадедушек заливали тропическими лучами джунгли чахлых фикусов и заляпанных борщом скатертей. Под стать атмосфере убогой роскоши был и метрдотель, белобородый патриарх лет восьмидесяти, не меньше. Он смотрел на нас сквозь толстую, как в матросском притоне, стену папиросного дыма свирепым взглядом, как будто спрашивая, по какому праву мы здесь находимся.

Мисс Райан улыбнулась ему и сказала: “Водка, пжалиста”. Старик по-прежнему глядел на нее враждебным, непонимающим взглядом. Тогда она стала произносить слово “водка” на разные лады — “Воудка… Вадка… Водка…” — и даже показала жестами, как опрокидывают рюмку. “Бедняга глух как пробка, — сказала она и крикнула: — Vodka, черт побери!”

Лицо старика не изменилось, но он поманил нас за собой и, следуя русскому обычаю сажать вместе чужих людей, поместил за столик с двумя мужчинами. Оба пили пиво, и старик показал на него, как будто спрашивая, это ли нам нужно. Мисс Райан кивнула, смирившись с судьбой.

Наши соседи по столу оказались совершенно разными. Один, здоровенный бритоголовый парень в выцветшей гимнастерке, был уже в сильном подпитии, как и множество других посетителей, в основном мужчин — либо шумливых, либо что-то бормочущих, навалившись на стол. Второй был загадкой. По виду он бы сошел за уолл-стритовского партнера Германа Сарториуса. Гораздо легче было представить его ужинающим в “павильоне”, чем потягивающим пиво в Брест-Литовске. Его костюм был хорошо отутюжен, и видно было, что шил его не он. На рубашке поблескивали золотые запонки. Он один во всем зале был при галстуке.

Через какое-то время бритоголовый солдат заговорил с мисс Райан.

— К сожалению, я не говорю по-русски, — объяснила она. — Мы американцы. Amerikansky.

Это его несколько отрезвило. Взгляд красных глаз медленно, хотя и не полностью, сфокусировался. Он повернулся к хорошо одетому человеку и произнес длинную тираду, на которую тот ответил несколькими отточенными, холодными фразами. Последовал обмен резкостями, после чего солдат прошествовал вместе с пивом к соседнему столику, где и сел, злобно глядя на нас.

— Ну что ж, — сказала мисс Райан, отвечая ему таким же злобным взглядом, — значит, не все мужчины одинаково хороши, вот и все.

Зато нашего хорошо одетого защитника она объявила “очаровательным”.

— Вроде Отто Крюгера. Странно, мне всегда нравились мужчины в возрасте. Перестань таращиться, он поймет, что мы о нем говорим.

— Слушай, — продолжала она, обратив мое внимание на его рубашку, запонки и чистые ногти, — как ты думаешь, в России бывают миллионеры?

Тут подоспело пиво: бутылка величиной в кварту и два стакана. Метрдотель налил дюйм пива в мой стакан, затем выжидающе остановился. Мисс Райан первая поняла, в чем дело. “Он хочет, чтобы ты его попробовал, как вино”. Поднимая стакан, я раздумывал, принято у советских дегустировать пиво или же это некая церемония, смутная, шампанская память о царском блеске,

которую старик возродил, чтобы нас удивить. Я сделал глоток, кивнул, и старик с гордостью наполнил наши стаканы теплым, беспенным пойлом. Но мисс Райан вдруг сказала:

— Не прикасайся к пиву. Какой ужас!

Я ответил, что оно, по-моему, не такое уж плохое.

— Да нет, дело не в этом, — сказала она. — Представляешь, нам нечем заплатить! Я только сейчас сообразила. У нас ни рубля. О боже!

— Простите, вы не согласитесь быть моими гостями? — спросил по-английски мягкий голос с очаровательным акцентом. Говорил хорошо одетый человек, и хотя лицо его не изменило выражения, ярко-синие нордические глаза заиграли лучиками морщинок от нашего замешательства.

— Я не русский миллионер. Такие бывают — я знаю нескольких, — но мне было бы крайне приятно угостить вас пивом. Нет-нет, пожалуйста, не извиняйтесь, — ответил он на заикания мисс Райан, уже откровенно улыбаясь. — Это истинное удовольствие. Необычайное. Не каждый день встречаешь американцев в этих краях. Вы коммунисты?

Разуверив его, мисс Райан объяснила, куда и зачем мы едем.

— Вам очень повезло, что вы начинаете с Ленинграда, — сказал он. — Изумительный город. Тихий, спокойный, по-настоящему европейский. Единственное место в России, где я мог бы жить, то есть я не собираюсь, конечно, но все-таки… Да, люблю Ленинград. Ничего общего с Москвой. Я сейчас еду в Варшаву, а до этого две недели пробыл в Москве. Все равно что два месяца.

Он объяснил, что он норвежец, бизнесмен, занимается заготовкой лесоматериалов и с 1931 года, с перерывом на войну, ежегодно на несколько недель приезжает по делам в Советский Союз.

— У меня русский вполне приличный, друзья считают меня авторитетом по России. Но, по правде говоря, сейчас я понимаю про нее не больше, чем в 1931 году. Всякий раз, как приезжаю к вам — я был в Америке — сколько? ну, пожалуй, раз пять-шесть, — мне приходит в голову, что единственные, кто напоминают русских, — это американцы. Надеюсь, вам не обидно? Американцы — широкие люди. Энергичные. А подо всем этим хвастовством — страстное желание, чтобы их любили, гладили по голове, как ребенка или собаку, сказали, что они ничем не хуже других, может, и лучше… Вообще-то европейцы склонны с этим согласиться. Но сами американцы в это не верят. Все равно знают, что они хуже всех и живут бог знает как. Одни совсем. Точь-в-точь как русские.

Мисс Райан захотела узнать, что говорил солдат, ушедший из-за нашего столика.

— А-а, чепуха, — сказал он. — Пьяная бравада. По какой-то идиотской причине он решил, что вы его оскорбили. Я сказал, что он ведет себя nye kulturni. Запомните: nye kulturni. Это вам очень пригодится: когда эти ребята начинают грубить и надо их осадить, бесполезно говорить “сволочь” или “сукин сын”, но скажите, что он некультурный, — сразу сработает.

Мисс Райан начала беспокоиться, как бы нам не опоздать. Мы пожали руку джентльмену и поблагодарили за пиво.

— Вы были очень kulturni, — сказала Нэнси. — И вообще, по-моему, вы даже красивее Отто Крюгера.

— Так и скажу жене, — ответил он, широко улыбаясь. — Dasvidania. Всего наилучшего.

Через час после отправления из Брест-Литовска было объявлено, что первая группа посетителей приглашается в вагон-ресторан. Это событие труппа предвкушала давно, с аппетитом, обостренным, во-первых, реальным голодом, а во-вторых, уверенностью, что для первой русской трапезы советские хозяева непременно зададут “пир на весь мир”, или, как выразился один участник труппы, “жрачку до опупения”.

Самые скромные желания были у мисс Тигпен: “Пять ложечек икры и кусочек тоста. Это сто тридцать калорий”. Миссис Гершвин о калориях не думала вообще: “ Уж я-то сразу на икорку налягу, можешь быть уверен, солнышко. В Беверли-Хиллз она стоит тридцать пять долларов фунт”. Мечты Леонарда Лайонса вращались вокруг горячего борща со сметаной. Эрл Брюс Джексон собирался “упиться до чертиков” водкой и “обожраться” шашлыком. Мэрилин Путнэм умоляла всех и каждого оставить кусочек для Тверп.

Первая группа, в количестве пятидесяти человек, прошествовала в вагон-ресторан и заняла места за столами на четверых по обе стороны прохода. Столы, покрытые льняными скатертями, были уставлены белым фаянсом и отполированным серебром. Вагон-ресторан выглядел таким же древним, как столовое серебро, и в воздухе, подобно пару, висел запах полувековой стряпни. Савченко не было; роль хозяев играли мисс Лидия и трое молодых людей. Молодые люди сидели за разными столами и переглядывались, как бы безмолвно взывая друг к другу с островков изгнания и тоски.

Мисс Лидия сидела за одним столом с Лайонсом, мисс Райан и мною. Чувствовалось, что для этой немолодой женщины, которая, по ее словам, в обыденной жизни переводит статьи и живет в московской коммунальной квартире, необыкновенным

событием, от которого она так разрумянилась, были не разговоры с иностранцами, а то, что она сидит в вагоне-ресторане. Во всем этом — в столовом серебре, в чистой скатерти, в лукошке со сморщенными яблоками, вроде тех, которыми торговал китаец — было что-то, отчего она долго поправляла розочку из слоновой кости и подкалывала разлетающиеся волосы.

— Ага, еда идет! — сказала она, глядя вбок, на квартет приземистых официантов, проковылявших по проходу с подносами, на которых стояло первое.

Те, чье нёбо предвкушало икру во льду и графины с охлажденной водкой, слегка погрустнели при виде йогуртов и газировки с малиновым сиропом. Энтузиазм выразила только мисс Тигпен: “Так бы их и расцеловала! Белков как в бифштексе, а калорий вдвое меньше”. Однако миссис Гершвин с другой стороны прохода посоветовала ей не перебивать аппетита.

— Не ешьте этого, солнышко, следующим номером точно будет икра.

Однако следующим номером была жесткая лапша, покоившаяся, как затонувшие бревна, в водянистом бульоне. За супом последовали телячьи котлеты в сухарях, с вареной картошкой и горошком, гремевшим на тарелке, как дробь; для запития были принесены новые бутылки с газировкой.

— Я не о своем желудке беспокоюсь, а о Тверповом, — сказала мисс Путнэм миссис Гершвин, на что та, перепиливая котлету, ответила:

— Как ты думаешь, может, икру подадут на десерт? С такими, знаешь, крохотными блинчиками?

У мисс Лидии надулись щеки, выкатились глаза, челюсти работали как поршни, по шее стекал пот.

— Ешьте, ешьте, — приговаривала она, — ведь вкусно, правда?

Мисс Райан сказала, что все просто замечательно, и мисс Лидия, вытирая тарелку толстенным куском черного хлеба, горячо согласилась:

— Лучше даже в Москве не получите.

В минуту затишья между вторым и сладким она принялась за лукошко с яблоками; гора огрызков все росла, но время от времени мисс Лидия прерывалась, отвечая на вопросы. Лайонс беспокоился о том, в какой гостинице остановится труппа в Ленинграде. Мисс Лидию поразило, что он этого не знает.

— В “Астории”! Номера заказаны за много недель вперед.

Она добавила, что Астория — “старомодная, но чудесная”.

— Ладно, — сказал Лайонс, — а как в Ленинграде с ночной жизнью, сюжетцы есть?

В ответ мисс Лидия заявила, что ее английский, пожалуй, хромает, и стала, со своей московской точки зрения рассуждать о Ленинграде, примерно как житель Нью-Йорка — о Филадельфии: город “старомодный”, “провинциальный”, “совсем не такой, как Москва”. Послушав ее, Лайонс угрюмо заметил:

— Да, похоже, два дня — выше головы.

Тут мисс Райан сообразила спросить, когда мисс Лидия была в Ленинграде в последний раз. Мисс Лидия хлопнула глазами.

— В последний раз? Никогда. Ни разу там не бывала. Интересно будет поглядеть.

Тут у нее тоже возник вопрос.

— Объясните мне, пожалуйста. Почему среди исполнителей нет Поля Робсона? Он ведь черный, нет?

— Да, — ответила мисс Райан, — цветной, как еще шестнадцать миллионов американцев. Вряд ли мисс Лидия полагает, что все они должны быть заняты в “Порги и Бесс”?

Мисс Лидия откинулась на спинку стула, с выражением “меня не проведешь”.

— Это оттого, что вы, — сказала она, улыбнувшись мисс Райан, — не даете ему паспорта.

Подали десерт — ванильное мороженое, совершенно замечательное. Позади нас мисс Тигпен говорила жениху:

— Эрл, лапочка, я бы на твоем месте к нему не прикасалась. А вдруг оно непастеризованное?

Через проход миссис Гершвин сообщила мисс Путнэм:

— Я так понимаю, они ее всю отправляют в Калифорнию. В Беверли-Хиллз она по тридцать пять долларов за фунт.

Последовал кофе, а за ним — перебранка. Джексон с дружками оккупировали один из столов и раздали карты для партии в тонк. Тут двое здоровяков из министерства, Саша и Игорь, взяли картежников в вилку и, стараясь говорить твердо, сообщили, что “азартные игры” в Советском Союзе запрещены.

— Друг, — сказал один из игроков, — кто говорит об азартных играх? Надо же чем-то заняться. Не дают нам раскинуть картишки с друзьями — мы жжем стога.

— Нельзя, — настаивал Саша. — Противозаконно.

Мужчины бросили карты, и Джексон, засовывая колоду в футляр, сказал:

— Мухосранск. Местожительство для мертвяков. Ставка — ноль целых ноль десятых. Так ребятам в Нью-Йорке и передай.

— Они несчастливы. Мы сожалеем, — сказала мисс Лидия. — Но надо помнить о наших ресторанных работниках. — Изящным жестом короткопалой руки она указала на официантов с массивными, лоснящимися от пота лицами и очумелым взглядом,

которые ковыляли по проходу с тоннами грязных тарелок. — Вы понимаете. Будет плохо, если они увидят, что законы не осуществляются. — Она собрала оставшиеся яблоки и сунула их в матерчатую сумку. — А теперь, — весело произнесла она, — мы идем спать. Распутываем моток дневных забот.

Утром 21 декабря “Голубой экспресс” находился от Ленинграда в сутках езды — то есть на расстоянии дня и ночи, которые, по мере вползания поезда в глубь России, все меньше различались между собой. Уж очень слабо разделяло их солнце, серый призрак, подымавшийся в десять утра, а в три возвращавшийся к себе в могилу. В недолговечные дневные промежутки перед нами по-прежнему расстилалась зима во всей своей непробиваемой суровости: ветки берез, ломавшиеся под тяжестью снега; бревенчатые избы, без единой живой души, увешанные сосульками, тяжеленными, как слоновые бивни; как-то раз — деревенское кладбище, бедные деревянные кресты, согнутые от ветра, почти погребенные в снегу. Но там и сям на опустелых полях виднелись стога сена — знак, что даже эта суровая земля когда-нибудь, далекой весной, снова зазеленеет.

Среди пассажиров маятник эмоций уравновесился на точке нирваны между отъездными нервами и приездным волнением. Длившееся и длившееся вневременное “нигде” воспринималось как вечное, подобно ветру, опрокидывавшему на поезд все новые и новые снежные вихри. В конце концов отпустило даже Уотсона.

— Ну вот, — говорил он, зажигая сигарету почти не дрожавшими пальцами, — похоже, нервы я заарканил.

Тверп дремала в коридоре — розовое брюшко кверху, лапы набок. В купе № 6, которое к этому моменту превратилось в вавилон незастеленных постелей, апельсиновых корок, просыпанной пудры и плавающих в чае окурков, Джексон тасовал карты, чтобы не потерять навыка, его невеста полировала ногти, а мисс Райан, как всегда учившая русский, долбила очередную фразу из старого армейского учебника: “Sloo-shaeess-ya ee-lee ya boo-doo streel-yat! Слушайся, или я буду стрелять!”.

Единственным, кто остался верен делам, был Лайонс.

— От глазения за окошко денег не прибавится, — твердил он, угрюмо печатая на машинке очередной заголовок: “Шоу-поездом — в Ленинград”.

В семь часов вечера, когда прочие отправились на третий за день раунд йогурта и газировки с малиновым сиропом, я остался в купе и поужинал шоколадкой Герши. Мне казалось, что мы с Тверп — одни в вагоне, но потом мимо двери прошел один из министерских переводчиков, Генри, лопоухий молодой человек ростом с ребенка — прошел туда, потом обратно, всякий раз

бросая на меня взгляд, исполненный любопытства. Ему явно хотелось заговорить, но мешали застенчивость и осторожность. После очередной рекогносцировки он все-таки зашел — как выяснилось, с официального боку.

— Ваш паспорт, — потребовал он с резкостью, которой часто прикрываются застенчивые люди.

Он сел на полку мисс Тигпен и начал изучать паспорт сквозь очки, все время съезжавшие на кончик носа; они были ему велики, как всё — от лоснящегося черного пиджака и расклешенных брюк до стоптанных коричневых туфель. Я попросил его объяснить, что именно ему нужно, тогда я, наверное, смогу ему помочь.

— Это необходимо, — промямлил он в ответ, и уши его запылали, как горящие угли. Поезд проехал, должно быть, уже несколько миль, а он все перелистывал паспорт, как мальчуган, разглядывающий альбом с марками; тщательно проверил памятки, оставленные на страницах иммиграционными властями, но больше всего его заинтересовали данные о профессии, росте, цвете кожи и дате рождения.

— Здесь правильно? — спросил он, указывая на дату рождения.

— Да, сказал я.

— У нас три года разницы, — продолжал он. — Я младший — младше? — я младше, спасибо. Но вы много видели. Да. А я видел Москву.

Я спросил, хотелось ли ему поездить по свету? В ответ последовала странная серия пожиманий плечами и неких суетливых движений, которые он производил, сжавшись внутри своего костюма, и которые означали “да… нет… может быть”. Потом он поправил очки и сказал:

— Мне некогда. Я работяга, как он и он. Три года — может случиться, на моем паспорте тоже будет много печатей. Но я довольствуюсь сценичностью — нет, сценой — в воображении. Мир везде один, но здесь, — он постучал по лбу — и здесь, — он приложил руку к сердцу, — переменчивость. Как правильно, переменчивость или перемена?

— И так и так, — ответил я; в его употреблении и то и другое имело смысл.

От стараний, затраченных на лепку фраз, и от избытка стоявших за ними чувств он задохнулся. Немного посидел молча, опершись о локоть, потом заметил:

— Вы похожи на Шостаковича. Правильно?

— Не думаю, — сказал я, — судя по виденным мной фотографиям Шостаковича.

— Мы об этом говорили. Савченко тоже этого мнения, — сказал он тоном, закрывавшим вопрос; кто мы с ним такие, чтобы противоречить Савченко?

С Шостаковича разговор перешел на Давида Ойстраха, знаменитого советского скрипача, недавно гастролировавшего в Нью-Йорке и Филадельфии. Мои рассказы об американских триумфах Ойстраха он слушал так, как будто я расхваливаю его, Генри; сгорбленные плечи расправились, болтавшийся костюм сел на нем как влитой, а каблуки туфель, не достававших до пола, сходились и цокали, цокали и сходились, как будто он плясал джигу. Я спросил, как он думает, будет ли “Порги и Бесс” пользоваться таким же успехом в России, как Ойстрах — в Америке.

— Мне неспособно сказать. Но мы в министерстве надеемся больше вас. Для нас это тяжелая работа, ваша “Порги и Бесс”.

Он рассказал, что служит в министерстве уже пять лет, но это его первая служебная командировка. Обычно он шесть дней в неделю просиживает за столом в министерстве (“У меня есть мой собственный телефон”), а по воскресеньям сидит дома и читает (“Среди ваших писателей очень сильный — Кронин. Но Шолохов сильнее, да?”). “Домом” была квартира на окраине Москвы, где он жил с родителями и, будучи холостым (“Моя зарплата еще не равна устремлениям”), спит в одной комнате с братом.

Разговор набирал темп; он съел кусочек шоколадки, он смеялся, каблуки его цокали; и тут я предложил ему в подарок книги. Они стопкой лежали на столе, и взгляд его то и дело на них останавливался. Это был набор дешевых приключенческих романов в ярких обложках, вперемешку с романом Эдмунда Уилсона “На Финляндский вокзал”, историей зарождения социализма, и книгой Нэнси Митфорд — биографией мадам де Помпадур. Я сказал, что пусть берет любые, какие хочет.

Он сначала обрадовался. Потом руки его, потянувшиеся было к книгам, заколебались, остановились, и его опять одолел тик; последовали пожимания и съеживания, пока он снова не утонул в глубинах костюма.

— Мне некогда, — сказал он с сожалением.

После чего темы для разговора, по-видимому, иссякли. Он сообщил, что мой паспорт в порядке, и ушел.

Между полуночью и двумя часами ночи “Голубой экспресс” неподвижно стоял на запасном пути недалеко от Москвы. Царивший снаружи холод прокрался в вагоны, создавая на внутренней стороне оконного стекла ледяные линзы; глядя в окно, ты видел лишь расплывчатую призрачность, будто страдал катарактой.

Стоило поезду выехать из Москвы, по вагонам рябью прошло беспокойство; спавшие проснулись и начали квохтать, как куры, обманутые мнимым рассветом; неспавшие налили себе еще по рюмке и обрели второе дыхание.

Мисс Тигпен проснулась как от кошмара, с воплем: “Эрл! Эрл!”

— Нет его, — сказала мисс Райан, которая лежала свернувшись клубочком у себя на полке, потягивала бренди и почитывала Мики Спиллейна. — Ушел нарушать закон. В сосднем вагоне тайный тонк устроили.

— Не дело это. Эрлу отдыхать бы надо, — недовольно пробурчала мисс Тигпен.

— А ты ему устрой головомойку, — посоветовала мисс Райан. — Пусть только попробует не жениться!

— Нэнси, quelle heure est-il?*

— Без двадцати четыре.

В четыре мисс Тигпен опять осведомилась о времени; в десять минут пятого — опять.

— Побойся бога, Хелен. Либо купи часы, либо прими Обливион.

Мисс Тигпен рывком откинула одеяло.

— Все равно не засну. Лучше оденусь.

На выбор туалета, косметики и духов ушло час двадцать пять минут. В пять тридцать пять она надела шляпу с пером и вуалеткой и уселась на полку, совершенно одетая, за исключением чулок и туфель.

— Ума не приложу, как быть с ногами. Еще отравишься! — сказала она.

Ее страхи объяснялись тем, что русские направили дамам из труппы циркуляр по вопросу о нейлоновых чулочных изделиях. В условиях сильного холода, объявлялось в нем, нейлон имеет тенденцию разлагаться, что может привести к нейлоновому отравлению. Мисс Тигпен растирала голые ноги и причитала:

— Куда мы едем? Что это за место, где чулки у дамы распадаются прямо на улице и могут ее убить?

— Плюнь, — сказала мисс Райан.

— Но русские…

— Да откуда, к черту, им знать? У них нейлоновых чулок отродясь не было. Вот и болтают.

Джексон вернулся в купе в восемь утра.

— Эрл, — сказала мисс Тигпен, — это ты так будешь себя вести, когда мы поженимся?

— Любонька, — ответил он, устало забираясь на полку, — твой котик отмяукал. У него теперь ноль целых ноль десятых.

Убл-и-ду до нитки.

Мисс Тигпен не проявила никакого сочувствиия.

— Эрл, не смей спать. Мы, можно сказать, приехали. Хоть капельку поспишь — будешь выглядеть пугалом.

Джексон что-то пробурчал и с головой укрылся одеялом.

— Эрл, — негромко произнесла мисс Райан, — ты знаешь, конечно, что на вокзале будут снимать кинохронику?

В рекордно короткий срок Джексон побрился, переменил рубашку и облачился в шубу цвета тянучки. Он оказался также владельцем сделанной на заказ мягкой шляпы из того же меха. Всовывая руки в перчатки с отверстиями, являвшими миру его перстни, он инструктировал невесту, как вести себя перед кинокамерами.

— Заруби себе на носу, сестренка, фотографы нам ни к чему. Зряшная трата времени. — Он поскреб кольцами окошко и глянул наружу; было пять минут десятого и по-прежнему темно: не лучший фон для фотографий. Но через полчаса тьма превратилась в серо-стальную мглу, и обозначилась голубизна падавшего легкого снега.

По вагонам прошел представитель министерства Саша, стуча в двери купе.

— Леди и джентльмены, через двадцать минут мы прибываем в Ленинград.

Я закончил одеваться и протиснулся в битком набитый коридор, где волнение набирало скорость с каждой минутой, как колеса поезда. К высадке была готова даже Тверп, закутанная в шаль и покоившаяся в объятиях мисс Путнэм. Но самой готовой была миссис Гершвин, топорщившаяся норковым мехом и унизанная брильянтами. Кудряшки ее очаровательно выглядывали из-под полей роскошной собольей шапки.

— А-а, шляпа, солнышко? Купила в Калифорнии. Приберегала для сюрприза. Нравится, да? Какой вы душка, солнышко. Солнышко…— сказала она, и во внезапно наступившей тишине голос ее прозвучал неожиданно громко, — приехали!

Секунда потрясенного неверия — и все начали, толкаясь, протискиваться в тамбур. Грустноглазого проводника, поместившегося там в надежде на чаевые, притиснули к стене, даже не заметив. Напрягая каждый мускул, как скаковые лошади, Джексон и Джон Маккарри маневрировали у выхода, сражаясь за право выйти первым. Маккарри потяжелее, и когда двери открылись, первым оказался он.

Он шагнул прямо в серую толпу, на вспышку фотоаппарата.

— Господь с вами, — сказал он женщинам, наперебой

совавшим ему букеты. — Господь с вами, тупоголовенькие.

“Когда мы приехали, вокруг летало множество птиц, черных и белых, — писал позднее в дневнике Уорнер Уотсон. — Белые называются sakaros. Записываю это для знакомых любителей птиц. Нас встретило множество приветливых русских. Женщинам и мужчинам из труппы дарили цветы. Интересно, где они их взяли в это время года. Букетики жалкие, как будто собранные детьми”.

Мисс Райан, которая тоже вела дневник, записала: “Официальная приветственная группа состояла из великанов-мужчин и задрипанных дам, одетых для встречи гроба, а не театральной труппы (черные пальто, серые лица), но может, это и была встреча гроба. Мои дурацкие пластиковые галоши все время спадали, так что невозможно было протолкаться сквозь кучу микрофонов и кинокамер, а также людей, сражавшихся за подступы к тому и другому. Брины были тут как тут, Роберт — еще не проснувшийся; зато Вильма — сплошная улыбка. В конце перрона тусклыми латунными буквами блеснуло слово Leningrad — и тут только я поняла, что это не сон”.

Поэтесса Хелен Вольферт сочинила для своего дневника длинное, подробное описание. Вот отрывок: “Мы шли по платформе к выходу, а по обе стороны стояли колонны аплодировавших людей. Когда мы вышли на улицу, к нам кинулась толпа зрителей. Полицейские отпихивали их, чтобы дать нам пройти, но люди пихались в ответ с не меньшей силой. Актеры ответили на суетливое тепло встречи изящной любезностью, экспансивностью и чуткостью. Русские в них просто влюбились, и неудивительно: я сама в них влюблена”.

К этим записям следует, пожалуй, сделать несколько примечаний. Те, кого мисс Райан называет “великанами-мужчинами и задрипанными дамами”, — были сто, а то и больше, ведущих ленинградских актеров, которым поручили устроить встречу. Поразительно, но им не сказали, что труппа, занятая в “Порги и Бесс” — негритянская; и пока они меняли озадаченное выражение лиц на приветственное, половина труппы уже вышла из вокзала. “Толпа зрителей”, отмеченная миссис Вольферт, состояла из рядовых граждан, чье присутствие было вызвано появившейся накануне в “Известиях” заметкой следующего содержания: “Завтра утром в Ленинград прибывает поездом на гастроли американская оперная труппа. Здесь намечены их выступления”. Кстати, эти две строчки были первым сообщением в советской печати о бриновском начинании; но, несмотря на краткость, заметка оказалась настолько интригующей, что привлекла добрую тысячу ленинградцев, которые забили вокзал,

теснились на лестнице и выплескивались на улицу. Что касается “суетливого тепла”, поразившего миссис Вольферт, то я ничего такого не заметил. Там и сям действительно вспыхивали негромкие аплодисменты, но вообще толпа, как мне показалось, созерцала выходивших из дверей исполнителей в каком-то бездонном молчании, в почти кататонической застылости. Невозможно было понять, что они думают о триумфальном шествии американцев — миссис Гершвин, нагруженная букетами, как новобрачная; крохотный Деви Бей, на ходу танцевавший импровизированную Сьюзи-Кью; Джексон, по-королевски помахивавший толпе, и Джон Маккарри, поднявший над головой кулаки, как боксер на ринге.

Но хоть на лицах русских и невозможно было ничего прочесть, у официального историка труппы Леонарда Лайонса мнение сложилось, и очень четкое. Обозрев всю сцену с видом профессионала, он покачал головой.

— Никуда не годится. Зрелищности никакой. Знай Брин свое дело, мы бы вышли из поезда с пением!

Часть вторая. Музы слышны

Ленинградская премьера “Порги и Бесс”, которой, по общему мнению, предстояло прогреметь на весь мир, была назначена на 26 декабря. Таким образом, на подготовку и репетиции оставалось пять дней — предостаточно, учитывая, что труппа уже почти четыре года разъезжала по свету. Но режиссер и продюсер спектакля Роберт Брин все поставил на то, что публика, собравшаяся на ленинградскую премьеру, увидит идеальное исполнение негритянской оперы. И сам Брин, и его энергичная партнерша-жена Вильва, и их ассистент, мягкий, но до чрезвычайности нервный Уорнер Уотсон, ни минуты не сомневались, что русских эта музыкальная сказка “собьет с ног”, что они “такого не видели”. Сторонние наблюдатели, даже вполне благожелательно настроенные, были в этом далеко не убеждены. Словом, куда ни кинь, а для американцев, как и для их русских спонсоров, вечер премьеры обещал быть одним из самых напряженных. До премьеры оставалось еще почти четверо суток; и, когда заказные автобусы доставили исполнителей в гостиницу “Астория”, накопившееся нервное напряжение сказалось в дележе номеров.

“Астория”, расположенная на бескрайней Исаакиевской площади, — интуристская гостиница. Иначе говоря, она подчиняется советскому министерству, ведающему всеми гостиницами, где позволено останавливаться иностранцам. “Асторию” подают, и не без оснований, как лучшую гостиницу Ленинграда. Некоторые считают ее российским “Рицем”. Но она и не думает соответствовать западному представлению об отеле-люкс. Одна из немногих ее уступок этому представлению — помещение рядом с вестибюлем, рекламирующее себя как Institut de Beaute.* Там постояльцам предлагаются Pedicure, Manicure и Coiffure pour Madame.** Крапчатой белизной стен и зубодробильными приспособлениями Institut напоминает клинику для бедняков, где заправляют не отличающиеся чистотой сестры, а coiffure, которую получит здесь madame, превратит ее волосы в идеальный “ежик” для сковородок. Рядом находится трио переходящих один в другой ресторанов, громадных пещер, не более радостных чем самолетные ангары. Тот, что в центре, — самый модный ресторан Ленинграда. Там ежевечерне, с восьми до полуночи, оркестр играет русский джаз для местного haut monde***, который, как правило, не танцует, а угрюмо сидит за столиками, считая пузырьки грузинского шампанского в липких бокалах. За низким прилавком в холле находится контора

Интуриста; столы расставлены так, что дюжине служащих все видно, и это облегчает их задачу — следить за приходами и уходами постояльцев. Задачу эту еще более упростили, а то и решили на сто процентов, поместив на каждом этаже дежурную — недреманное око, бодрствующее от зари до зари, никому не дающее уйти, не оставив ключа, и непрерывно, как компостер, записывающее приходы и уходы в толстенный гроссбух. Гудини, может, и сумел бы от нее ускользнуть, но как — неясно, поскольку стол ее обращен одновременно к лестнице и к лифту, старинной, скрипящей на тросах птичьей клетке. Имеется, правда, неохраняемая задняя лестница, ведущая из верхних этажей в отдаленный боковой холл. Для тайного гостя или для постояльца, желающего уйти незамеченным, это, вроде бы, идеальный путь. Но это только кажется: лестница сверху донизу забаррикадирована деревянными заборчиками, к которым приставлены для верности старые кушетки и armoires.**** Вполне допускаю, что руководству гостиницы просто некуда девать всю эту мебель: во всяком случае в номерах для нее не нашлось места. Среднее обиталище в “Астории” напоминает викторианский чердак, где проживает бедный родственник, погребенный под ненужными семье вещами. Мириады романтических мраморных статуй и статуэток; тусклые лампы под тюлевыми абажурами, напоминающими балетные пачки; столы, множество столов, покрытых восточными коврами; бездна стульев; плюшевые кушетки; armoires, в которых умещается пароходный сундук; стены, пестрящие картинами в позолоченных рамах, с изображениями фруктов и сельских идиллий; кровати, скрытые в пещерных альковах за отсыревшими бархатными портьерами; и все это втиснуто в гробовое, непроветриваемое пространство (зимой окна не открываются, да никто бы и не стал их открывать) размером в четыре поездных купе. Есть в гостинице и роскошные пяти- и шестикомнатные апартаменты, но обставлены они точно так же, только еще изобильнее.

Тем не менее участники “Порги и Бесс” отнеслись к “Астории” в высшей степени одобрительно: они ожидали “настолько худшего”, а комнаты у них, как оказалось, “уютные”, “не без приятности” и, как выразился понимающий в этом “рекламщик” труппы Виллем Ван Лоон, “битком набитые модерном. Во дают!”. Но когда артисты впервые переступили порог гостиницы и смешались в холле с китайскими сановниками и казаками в сапогах до колен, оказалось, что вступить во владение этими комнатами в некоторых случаях — дело отдаленное и спорное.

“Астория” распределила комнаты, и в первую очередь

номера-люкс, на основе иерархии или отсутствия таковой, которая многих обозлила. Согласно теории Нэнси Райан, русские исходили из зарплатной ведомости Эвримен-оперы: “чем меньше зарабатываешь, тем больше комнату получаешь”. Так это или нет, но ведущие исполнители, а также выдающиеся личности, прибывшие в качестве гостей компании, сочли “смехотворным” и “чокнутым, точно чокнутым”, что рабочих сцены и костюмеров, плотников и монтеров сразу же повели в номера-люкс, тогда как “серьезные люди” должны были довольствоваться чуланами на задворках.

— Они что, издеваются? — спрашивал Леонард Лайонс.

Серьезные основания для недовольства были у другого гостя компании, нью-йоркского финансиста Германа Сарториуса: ему вообще не дали комнаты. Не дали таковой и миссис Гершвин. Она сидела в холле на чемоданах, а вокруг суетились Вильва Брин и Уорнер Уотсон.

— Не тушуйся, детка, — убеждала миссис Брин, прилетевшая днем раньше и воцарившаяся с мужем в шестикомнатном номере, полном асторийского великолепия. — Русские туповаты, кое-что путают, но потом все становится на свои места. Ты вспомни, как я в Москву ездила. — Имелась в виду поездка в октябре прошлого года, в связи с нынешним турне. — Девять дней ушло на двухчасовую работу. Но все получилось чудесно.

— Точно, Ли, — вторил Уотсон, смятенно ероша свой седеющий “ежик”. — Точно, детка, мы эту комнату точно заарканим.

— Солнышко, я всем довольна, солнышко, — уверяла их миссис Гершвин. — Все думаю, как потрясающе, что мы здесь.

— Подумать только, нам это удалось, — сказала миссис Брин, лучезарно улыбаясь всем вокруг. — И какие дивные, чудные, очаровательные люди. Правда же, чудно было, когда поезд пришел?

— Чудно, — согласилась миссис Гершвин, глянув на кучу засыхающих букетов, врученных ей на вокзале.

— И гостиница дивная, правда ведь?

— Правда, Вильва, — сказала миссис Гершвин без всякого выражения, как будто восторги подруги начали ее утомлять.

— У тебя будет дивная комната, Ли, — заверила миссис Брин.

— Не понравится — поменяем, — добавил Уотсон. — Только скажи, что нужно, и мы это живо заарканим.

— Перестань, лапушка. Это неважно. Не имеет ни малейшего значения. Лишь бы куда-нибудь поселили — я и не подумаю переезжать, — сказала миссис Гершвин, которой суждено было в

последовавшие дни трижды потребовать, чтобы ей сменили комнату.

Все это время представители Министерства культуры, во главе с грозным шестифутовым великаном Савченко, умасливали, поддакивали и обещали, что каждому достанется именно та комната, какой он заслуживает.

— Терпение, — умоляла пожилая переводчица мисс Лидия. — Не берите в голову. Комнат у нас полно. Никто не останется на улице.

На что Нэнси Райан сказала, что с удовольствием побродила бы по улицам, и предложила мне пойти прогуляться.

Исаакиевскую площадь окаймляет с одной стороны канал, который, подобно заледенелой Сене, ниточкой вьется через весь город, с другой — Исаакиевский собор, где теперь располагается музей. Мы направились к каналу. Небо было бессолнечно серым, и в воздухе вились снежинки — летучие крошки, бирюльки, то плававшие, то вихрем носившиеся взад-вперед, как игрушечные хлопья в хрустальном шаре. Стоял полдень, но на площади не было особого движения — лишь одна-две машины да автобус с зажженными фарами. Зато по заснеженным мостовым то и дело змеились запряженные лошадьми сани. По набережной беззвучно скользили лыжники, проходили матери, таща младенцев на саночках. Повсюду, как дрозды, носились на коньках школьники в черных пальто и меховых шапках. Двое из них остановились и уставились на нас. Это были девочки-двойняшки лет девяти, в кроличьих шубках и синих бархатных капорах. У них была одна пара коньков на двоих, но, держась за руки и двигаясь в такт, они умудрялись прекрасно катить каждая на одном коньке. Их красивые карие глаза глядели на нас недоуменно, как будто пытаясь понять, чем мы непохожи на остальных. Одеждой? Помадой на губах мисс Райан? Мягкими волнами ее завитых белокурых волос? В России иностранец быстро привыкает к легкой морщинке между бровями прохожего, которого что-то — непонятно что — в тебе смутило, и он останавливается, всматривается, несколько раз оглядывается, а иногда, повинуясь непонятной силе, поворачивает и идет за тобой. Вот и двойняшки вслед за нами поднялись на перекинутый через канал мостик и продолжали глазеть, когда мы остановились поглядеть на открывавшийся с моста вид.

Канал — в сущности, заснеженная канава — служил площадкой для игр детям, чьи пронзительные крики и смех вместе с колокольным звоном далеко разносились резким, пронизывающим ветром с Финского залива. Обледенелые скелеты деревьев сверкали на фоне строгих дворцов, строем стоявших

вдоль набережной до самого Невского. Ленинград, второй по величине и самый северный из крупных городов Советского Союза, строился в угоду царям,

а царям по вкусу была французская и итальянская архитектура. Этим объясняется не только стиль, но и расцветка дворцов по берегам Невы и в других старых районах. Преобладают черные и серые парижские тона, но то тут, то там внезапно врывается горячая итальянская палитра: ярко-зеленый, охряной, голубой. Некоторые дворцы превращены в жилые дома, но преобладают учреждения. Петр Первый, высоко ценимый нынешним режимом за то, что ввел на Руси науки, вероятно, одобрил бы мириады телевизионных антенн, осевших, как сонм металлических насекомых, на крыши некогда имперского города.

Мы спустились с мостика, забрели в открытые чугунные ворота и очутились в пустом дворе голубого палаццо. Это оказался вход в лабиринт переходивших друг в друга дворов, соединенных сетью аркад, туннелей и узких, спящих под снегом улочек, чье безмолвие нарушалось лишь цоканьем копыт лошадей, тащивших сани, колокольным звоном да еще хихиканьем двойняшек, неотступно следовавших за нами.

Холод действовал как наркоз: постепенно внутри у меня все так застыло, что можно было делать полостную операцию. Но мисс Райан ни за что не хотела возвращаться.

— Это же не просто так — мы в Санкт-Петербурге, господи боже ты мой! — твердила она. — Мне надо увидеть сколько смогу, а то потом крышка. Знаешь, что я потом буду делать? Сидеть безвылазно в гостинице и печатать Бринам всякую ерунду.

Впрочем, видно было, что долго ей не продержаться: лицо у нее стало багровым, как у пьяницы, на носу появилось белое пятнышко. Еще несколько минут — и она согласилась пуститься на поиски “Астории”.

Беда в том, что, как выяснилось, мы заблудились. Последовало кружение по одним и тем же улицам и дворам, до безумия смешившее двойняшек: они просто зашлись от хохота, обняв друг друга, когда мы набрели на старика, коловшего дрова, и стали умолять показать нам дорогу, размахивая руками, как стрелками компаса, и вопя: “Астория! Астория!” Дровосек ничего не понял; он отложил топор и пошел с нами на угол, где велел повторить представление для троих его грязнолицых приятелей. Те поняли не больше его, но куда-то нас повели. По дороге к нам из любопытства присоединились долговязый парнишка со скрипкой и женщина — по-видимому, мясник, так как поверх пальто на ней был забрызганный кровью фартук. Русские гомонили и препирались между собой; мы решили, что нас ведут

в милицию, но было наплевать — лишь бы там топили. К этому моменту пленки у меня в носу смерзлись, ресницы начали слипаться от холода — но я все же углядел, что мы вдруг снова оказались на мостике. Мне хотелось схватить мисс Райан за руку и помчаться что было сил, но она заявила, что за проявленную верность наша свита заслуживает узнать разгадку тайны. Вся процессия в полном составе, от дровосека до скрипача, во главе с двойняшками, катившими впереди как гаммельнские крысоловы, прошествовала через площадь к дверям "Астории". Там они окружили интурист-ский лимузин и стали допрашивать о нас водителя, а мы вбежали внутрь и рухнули на скамью, вбирая теплый воздух в легкие, как водолазы, долго пробывшие под водой.

— Вы, кажется, ходили гулять, — заметил проходивший мимо Леонард Лайонс и, понизив голос, спросил: — За вами кто-нибудь шел?

— Да, — ответила мисс Райан. — Толпы.

В холле вывесили доску для объявлений. К доске было прикноплено расписание репетиций, а также список развлечений, запланированных советскими хозяевами, — балетные и оперные спектакли, поездка на новом ленинградском метро, поход в Эрмитаж и рождественская вечеринка. Под заголовком "без опоздания" указывались также часы кормления, которые, из-за того, что в России утренние спектакли начинаются в 12.00, а вечерние — в 20.00, выглядели так: завтрак 9.30 утра, второй завтрак 11.00, обед 17.00, легкий ужин 23.30 вечера.

Но в 17.00 того, первого вечера я блаженствовал в горячей ванне, и мне не хотелось беспокоиться об обеде. В ванной комнате в предоставленном мне номере на третьем этаже были облупленные зеленовато-желтые стены, холодная батарея и сломанный унитаз, громыхавший как горный поток. Ванна, примерно 1900 года рождения, была усеяна пятнами ржавчины, а из кранов лилась вода цвета йода; но она была горячей, в ней изумительно было париться, и я грелся, лениво размышляя о том, что происходит внизу, в мрачном ресторане, и угощают ли наконец труппу икрой с водкой, шашлыком и блинами в сметане. (Самое смешное, что, как выяснилось впоследствии, им подали точно то же, что в поезде: йогурт, газировку с малиновым сиропом, бульон и панированные телячьи котлеты с горошком и морковью.) Мою дремоту прервал телефон. Какое-то время я не мешал ему звонить, как когда лежишь в ванне у себя дома; потом сообразил, что тут не дом, и вспомнил, как, глядя на телефон, думал, насколько это мертвый для меня предмет в России, абсолютно бесполезный, как если бы у него был перерезан

провод. Голый, оставляя ручьи на полу, я взял трубку, и голос мисс Лидии сказал, что мне звонят из Москвы. Телефон стоял на столе у окна, а внизу с пением маршировал полк солдат, и когда Москва оказалась на проводе, почти ничего не было слышно из-за рокота голосов. Звонил человек, которого я никогда в жизни не видел, — корреспондент "Юнайтед Пресс" Генри Шапиро.

— Что там происходит? Есть материал?

Он сообщил, что собирался в Ленинград ради "крупного материала" — премьеры "Порги и Бесс", но не смог приехать, так как должен освещать "другое открытие" — Верховного Совета, — которое состоится в тот же вечер в Москве. Поэтому Генри был бы благодарен, если бы я позволил ему позвонить в понедельник после премьеры и рассказал, "как все прошло, как было на самом деле". Я обещал, что постараюсь.

Звонок и шок от стояния голым в холодной комнате вернули меня к реальности. Труппа собиралась на балет, и я начал одеваться.

Тут была загвоздка. Брины постановили, что мужчины должны быть во фраках, а дамы — в полудлинных вечерних платьях.

— Это говорит об уважении, — объяснила миссис Брин, — и вообще, мы с Робертом любим, чтобы все было "гала".

Оппозиционные круги утверждали, что бриновский декрет сделает их посмешищем в стране, где никто не носит фраков и вечерних туалетов ни по какому случаю. Я выбрал компромиссный вариант — серый фланелевый костюм и черный галстук. Одеваясь, я расхаживал по комнате и поправлял изображения цветов и фруктов, которыми были увешаны стены. Все картины несколько покосились после инспекции Леонарда Лайонса, который был убежден, что асториевские номера полны микрофонов. Большинство исполнителей разделяло его мнение — и это неудивительно, поскольку, как сообщили на берлинском инструктаже двое дипломатов из американского посольства в Москве, в России нужно "исходить" из того, что комнаты прослушивают, а письма вскрывают. Да и Брин, назвавший советы дипломатов чепухой, нечаянно подогрел подозрения труппы, выразив надежду, что, кто бы что ни думал, в письмах мы будем просто писать, какая "интересная" страна Россия и как нам тут "весело". Некоторые считали, что он сам себе противоречит: зачем бы этого требовать, если бы он, как и все, не считал, что мы живем в атмосфере микрофонов и пара над чайниками?

На пути к выходу я передал ключи от номера дежурной по этажу, пухлой, бледной женщине с кукольной улыбкой, которая

записала в книге “224 — 19.00”, номер комнаты и время отбытия.

Внизу бушевал скандал. Участники труппы, разодетые и готовые к выходу, застыли в позах ужаса и стыда, как фигуры в живой картине, а посередине здоровенный, быкоподобный Джон Маккарри топал ногами и вопил:

— Да пусть они провалятся! Не буду я платить черт знает кому семь с половиной баксов, чтобы посидели с ребенком!

Маккарри возмущался ценой, которую запросила русская няня за то, чтобы посидеть с его четырехлетней дочкой, пока они с женой будут смотреть балет. Интурист предоставил родителям шестерых детей-участников труппы целый комплект нянь, по цене тридцать рублей в час; они договорились о няне даже для Тверп, собачки костюмерши. Тридцать рублей, по курсу четыре к одному, равняется 7.50 долларов, сумма немалая; но для русского покупательная способность тридцати рублей — 1 доллар 70 центов, так что русские, имевшие в виду всего лишь эту скромную сумму, никак не могли понять, почему беснуется Маккарри. Савченко от негодования порозовел, а мисс Лидия побелела. Брин сказал Маккарри какую-то резкость, после чего жена исполнителя, застенчивая женщина с вечно опущенными глазами, промолвила, что если ее муж будет так милостив замолчать, она останется дома с девочкой. Уотсон и мисс Райан вытолкали артистов из холла и запихнули в автобусы, заказанные на все дни нашего ленинградского проживания.

Позднее Брин извинился перед Савченко за “поведение” некоторых участников труппы. Извинение относилось не только к инциденту с Маккарри. В контракт между Министерством культуры и Эвримен-оперой не входило бесплатное спиртное, и Савченко был в большом горе, так как значительное число лиц заказывало напитки в номер и отказывалось за них платить, причем некоторые дрались с коридорными и осыпали их оскорблениями. Кроме того, до сведения Савченко дошло, что американцы обзывают его и его сотрудников “шпионами”. Брин назвал это “неоправданным и возмутительным”, и Савченко принял извинения, сказав:

— Ну конечно, приходится ожидать, что в такой большой труппе будут и такие, которые не на высоте.

Балет шел в Мариинском театре, переименованном (хотя никто его так не называет) в Кировский, в честь старого революционера и друга Сталина, чье убийство в 1934 году, говорят, положило начало массовым процессам. Здесь дебютировала прима-балерина Большого театра Галина Уланова, и советские критики до сих пор считают ленинградскую труппу оперы и балета первоклассной. Если не считать венецианского

XVIII века Фениче, на который Мариинка похожа своим размером, убранством и отоплением, это самый красивый театр, какой я видел в жизни. К сожалению, старые кресла заменены деревянными, как в школе, и их некрашенность неприятно контрастирует с изысканными серебристо-серыми тонами мариинского рококо.

В театре было холодно, но, невзирая на это, всем, в том числе и дамам, пришлось оставить пальто в гардеробе; даже миссис Гершвин вынуждена была расстаться со своей норкой, ибо в России считается крайне некультурным, nye kulturni, входить в пальто в театр, ресторан, музей и т.п. Больше всего пострадала от этого мисс Райан. Высокая, яркая блондинка, она была в платье с открытыми плечами, искусно подчеркивавшем изгибы ее фигуры; и когда она, покачивая бедрами, шла по проходу, взгляды мужчин поворачивались к ней, как цветы к солнцу. Вообще появление труппы невероятно взбудоражило публику. Люди вставали с мест, чтобы получше разглядеть американцев, с их фраками, шелками и блестками. Особым вниманием пользовались Эрл Брюс Джексон и его невеста Хелен Тигпен. Они сидели в Императорской ложе, где имперский герб заменен серпом и молотом, и Джексон, свесив руку за перила, чтобы видны были его перстни — по одному на каждом пальце, — неторопливо поводил головой то вправо, то влево, как королева Виктория.

— Я умру от холода, если не сгорю со стыда, — сказала мисс Райан. — Ты погляди, они думают, что я выгляжу непристойно.

Действительно, не приходится отрицать, что во взглядах русских женщин на обнаженные плечи мисс Райан был оттенок осуждения.

— Говорила я Вильве, незачем расфуфыриваться, — сказала миссис Гершвин, на которой было вполне подобающее случаю зеленое выходное платье. — Так и знала, что мы будем посмешищем. Все, солнышко, это в последний раз. Но вообще-то в чем нам ходить? — И она огляделась вокруг, как будто ища хоть намек на моду среди унылой, бесформенной публики. — Я ничего не привезла некрасивого.

На ряд впереди сидела девушка с волосами, не заплетенными в косы и не свернутыми в угрюмый веревочный жгут; она была подстрижена “под мальчика”, что очень подходило к ее занятному, как у фавна, лицу. На ней была черная шерстяная кофточка, на шее нитка жемчуга. Я показал на нее мисс Райан.

— Да я же ее знаю! — воскликнула мисс Райан. — Она с Лонг-Айленда, мы вместе учились в Радклифе! Присцилла Джонсон!

Девушка повернулась к нам, близоруко сощурившись.

— Господи помилуй, Присцилла, что ты здесь делаешь?

— Бог ты мой, вот это да, Нэнси, — сказала девушка, поправляя мальчишескую челку. — А ты что здесь делаешь?

Мисс Райан объяснила, и девушка, которая, как выяснилось, тоже живет в “Астории”, сообщила, что ей дали долгосрочную визу в СССР для изучения русского права — предмета, который интересовал ее еще в радклифовском колледже, где она и выучила русский язык.

— Но, солнышко, как можно изучать русское право? — спросила миссис Гершвин. — Оно же все время меняется!

— Бог ты мой. Ха-ха, — сказала мисс Джонсон. — Вообще-то я не только этим занимаюсь. Еще подготавливаю что-то вроде исследования Кинси. Жутко интересно.

— Еще бы, — сказала мисс Райан. — Один сбор материала чего стоит…

— А-а, это легче легкого, — заверила ее мисс Джонсон. — Я просто в разговоре все время сворачиваю на секс. И что русские о нем думают — вы бы просто упали. Бог ты мой, Нэнси, сколько мужчин имеют любовниц! Или хотели бы иметь. Я пишу статьи для “Вог” и “Харпер Базар”. Им это должно быть интересно.

— Присцилла просто гений, — шепнула мне мисс Райан, но тут стали гаснуть люстры и дирижер поднял палочку.

Балет, трехактный с двумя антрактами, назывался “Корсар”. В среднем советском балете главное не танцы, а пышность постановки; и “Корсар”, хотя и далеко не главная вещь в репертуаре, требует не меньше перемен декораций, чем ревю в Радио-сити или Фоли-Бержер — театрах, где “Корсар” был бы как дома, разве что первому не подошел бы уровень хореографии, а второй никогда бы не потерпел танца рабынь, закутанных до самого горла. По сюжету “Корсар” очень напоминает “Бахчисарайский фонтан”, поэму Пушкина, которую балет Большого театра раздул до одного из своих призовых экспонатов.

В “Фонтане” татарский варвар-военачальник похищает юную аристократку и держит у себя в гареме, где в течение трехчасового спектакля с ней происходит множество устрашающих приключений. В “Корсаре” примерно такие же испытания претерпевает сестра-близнец этой девушки: она становится жертвой кораблекрушения (изумительно воспроизведенного, с громом, молнией и потоками воды, низвергающимися на тонущее судно), и ее похищают пираты, после чего в течение трех часов происходит то, о чем я уже говорил. Обе эти сказки, как и бесчисленное множество других, говорят о том, что нынешний советский театр полагается главным образом на легенды и вымысел; и, для современного автора,

стремящегося выйти за ворота пропагандистского садика, единственная безопасная тропа ведет в лес волшебной сказки. Но даже и фантастическое требует подпорок реального, напоминаний об узнаваемом, человеческом; без этого нет ни жизни, ни искусства, и именно отсутствием того и другого нередко отличается советский театр, считающий, по-видимому, что и то и другое можно заменить трюками, эффектами и техническими чудесами.

Министерство культуры любит хвастаться, что Россия — единственная страна, где населению близка настоящая культура, и реакция публики на “Корсара” это подтверждала: каждая сцена, каждый сольный номер вызывали взрыв аплодисментов, от которых тряслись люстры.

Американцы тоже были в восторге.

— Изумительно, просто мечта, — говорила в антракте миссис Брин миссис Гершвин в кафе-гостиной. Ее муж тоже похвалил балет. Однако в глазах Брина, щеголеватого человека с лицом то мальчишески улыбчивым, то бесстрастным а-ля Бастер Китон, мелькало беспокойство, как будто он мысленно сравнивает сценическую изощренность “Корсара” с тремя простыми сменами декораций в “Порги и Бесс”. Если все дело в постановочных эффектах, то советскую публику несомненно ожидало разочарование.

— Не знаю, мне не понравилось, — строптиво сказала миссис Гершвин, когда Брины отошли поговорить с другой группкой. — У меня просто глаза слипались. И не буду я говорить, что нравится, когда не нравится. Они тебе прямо слова в рот вкладывают.

В этом-то и заключалась сложность положения Бринов. Они жили в постоянном страхе, словно родители, пришедшие в гости с детьми и ежеминутно ожидающие дурного поведения и разбитой посуды.

В кафе-гостиной продавалось пиво, спиртное, газировка с малиновым сиропом, сэндвичи, конфеты и мороженое. Эрл Брюс Джексон сказал, что умирает с голоду:

— Но, приятель, тут мороженое — доллар за лизнуть. А сколько они хотят за вот такусенькую шоколадинку, угадай? Пять с половиной!

Мороженое, которое советские власти рекламируют как домашнее изобретение, стало общенародной страстью в 1939 году, после того как СССР импортировал из Америки оборудование для его производства. Зрители, набившие гостиную, стоя ели мороженое ложечками из бумажных стаканчиков и смотрели, как американцы позируют для

неофициальных снимков, балансируя с пивной бутылкой на лбу, демонстрируя шимми или подражая Луи Армстронгу.

Во втором антракте я отправился на поиски мисс Райан и обнаружил, что она, стоя в углу у стены, высокомерно курит сигарету в длинном мундштуке и делает вид, что не замечает одутловатых девушек и свинцоволицых женщин, которые стояли вокруг и, хихикая, обсуждали ее облегающее вечернее платье и голые плечи. Стоявший рядом Леонард Лайонс сказал:

— Ну вот, теперь вы знаете, каково приходится Мэрилин Монро. Вот был бы номер, если бы она приехала! Непременно ей скажу.

— О-о-о-о, — простонала мисс Райан, — полцарства за пальто!

К ней подошел человек лет сорока, чисто выбритый, с достоинством державшийся, с фигурой спортсмена и лицом ученого.

— Мне бы хотелось пожать вам руку, — сказал он почтительно. — Я хочу, чтобы вы знали, с каким нетерпением мы с друзьями ожидаем “Порги и Бесс”. Могу вас заверить, что для нас это будет величайшим событием. Некоторым из нас удалось достать билеты на премьеру, — продолжал он. — В числе этих счастливцев и я.

Мисс Райан сказала, что рада это слышать, и отметила его прекрасный английский, который он объяснил тем, что провел военные годы в Вашингтоне, в советской закупочной комиссии.

— Но вы вправду меня понимаете? У меня так давно не было возможности поговорить — даже сердце забилось.

По его пристальному, восхищенному взгляду чувствовалось, что сердце у него забилось не только из-за английского языка. Тут лампы замигали, показывая, что антракт окончен; лицо его опало, и он настоятельно, как будто толкаемый какой-то силой, произнес:

— Пожалуйста, позвольте мне снова вас увидеть. Мне бы хотелось показать вам Ленинград.

Приглашение было обращено к мисс Райан, но из вежливости включало Лайонса и меня. Мисс Райан велела ему позвонить в “Асторию”, и он записал на программке наши фамилии, а затем написал свое имя и фамилию для мисс Райан.

— Стефан Орлов, — прочла мисс Райан. — Очень мил.

— Да, — сказал Лайонс, — но он не позвонит. Подумает хорошенько — и струсит.

Было договорено, что после спектакля труппа пойдет за кулисы, знакомиться с артистами. Финальная сцена “Корсара” рызыгрывается на палубе корабля, увешанного снастями; и, когда

американцы скрылись за занавесом, сцена оказалась так забита, что половине танцоров пришлось стоять на палубе и карабкаться на канаты, чтобы увидеть западных коллег. Их встретили аплодисментами, длившимися около четырех минут. Только после этого удалось добиться тишины, и Брин произнес речь, начинавшуюся словами: “Это мы должны вам аплодировать. Ваше волнующее мастерство подарило нам незабываемый вечер, и мы надеемся, что в понедельник сможем хоть немного отплатить за доставленное наслаждение”.

Пока Брин, а затем директор театра произносили речи, балерины, в поту, просачивавшемся сквозь грим, прокрались к американским артистам и, округлив намазанные глаза, охая и ахая, разглядывали туфли гостей, трогали их платья, вначале робко, а затем посмелее щупали шелк и тафту. Одна из них протянула руку и обняла исполнительницу по имени Джорджия Берн.

— Господи помилуй, дитятко мое драгоценное, — сказала мисс Берн, сердечная, с прекрасным характером женщина, — да обнимай сколько душе угодно. Приятно, когда тебя любят.

Был уже почти час ночи, когда автобусы тронулись обратно в “Асторию”. Места в этих холодильниках на колесах располагались точно так же, как в автобусах на Мэдисон-авеню. Я сидел на длинном заднем сиденье между мисс Райан и мисс Лидией. За окном, желтя снег на пустынных улицах, зимними светлячками мелькали фонари. Мисс Райан, глянув в окно, сказала:

— До чего все-таки красивые эти дворцы под фонарями!

— Да, — сказала мисс Лидия, подавляя сонный зевок, — частные дома очень красивые. — После чего, как будто вдруг пробудившись от сна, добавила: — Бывшие частные дома.

На следующее утро мы с Лайонсом и миссис Гершвин отправились на Невский проспект за покупками. Невский, главная улица Ленинграда, втрое короче Пятой авеню, но вдвое шире; переходить на другую сторону сквозь ряды заносимых на снегу машин — дело опасное, да и бессмысленное, ибо магазины по обе стороны — государственные, торгующие одинаковыми товарами по одинаковым ценам. Охотники за скидками, искатели “чего-нибудь эдакого” на Невском пали бы духом.

Лайонс вышел из дому с мечтой найти “миленькое Фаберже” для оставленной дома жены. После революции большевики продали французским и английским коллекционерам почти все шкатулки и пасхальные яйца, созданные Фаберже для царского развлечения; немногие его работы, оставшиеся в России, выставлены в ленинградском Эрмитаже и в кремлевской

Оружейной палате. На международных рынках начальная цена шкатулки Фаберже сегодня — более двух тысяч долларов. Однако все эти сведения не производили на Лайонса ни малейшего впечатления: он был уверен, что сразу же, и по дешевке, купит “своего” Фаберже в комиссионном магазине. В чем был резон, ибо если бы этот Фаберже существовал, то его можно было бы обнаружить, пожалуй, только в комиссионном магазине — государственной закладной лавке, где человек может тут же, не сходя с места, обратить в наличные остатки таимого семейного достояния. Мы побывали в нескольких таких заведениях, продуваемых сквозняком и отдающих печалью аукционных залов с их “продается-продается — продано”. В самом большом из них всю стену опоясывал застекленный прилавок, содержимое которого — страшноватое собрание самых разных предметов — напоминало дадаистский эксперимент. Туфли, сношенные настолько, что в них щемяще угадывалась форма ступни предыдущего владельца, стояли под стеклом аккуратно, рядами, как сокровища — каковыми и являлись, по цене от 50 до 175 долларов за пару; туфли окаймлял набор женских шляп — фривольных колпачков и бархатных “корзин” с громадными полями; далее сюрреалистическое разнообразие и ценность содержимомго взмывали в стратосферу: испорченный веер (30 долл.), использованная пуховка для пудры (7 долл.), янтарный гребень с выломанными зубьями (45 долл.), грязные авоськи (100 долл. и выше), серебряная ручка от зонтика (340 долл.), ничем не примечательные шахматы из слоновой кости, где не хватало пяти пешек (1450 долл.), целлулоидный слон (25 долл.), розовая алебастровая кукла, потрескавшаяся и облезлая, как будто долго лежала под дождем (25 долл.). Все эти предметы, тянувшиеся на многие ярды, были расставлены и пронумерованы с тщательностью, с какой расставляют вещи кого-то умершего и нежно любимого, и это благоговение делало выставку пронзительно горькой.

— Неужто это кто-нибудь покупает? — спросил Лайонс.

Но стоило оглядеться — и оказывалось, что есть люди, которым, за неимением ничего другого, траченный молью веер и серебряная ручка от зонтика кажутся прекрасными, заманчивыми, достойными указанной цены. По российскому календарю до Рождества оставалось еще две недели, но русские предпочитают дарить подарки на Новый год, и комиссионный, как и все остальные магазины на Невском, был битком набит транжирами. Никакого Фаберже Лайонс не нашел, но один закладчик вынул откуда-то уникальную табакерку XIX века — громадный топаз, разрубленный на две половинки и выдолбленный изнутри.

Однако не подошла цена, — 80 000 долларов, покупателю хотелось чего-нибудь подешевле.

Миссис Гершвин собиралась подарить каждому члену труппы “чудный” рождественский подарок (“Они все-таки четвертое Рождество вместе, солнышко, а мне так хочется показать этим чудным людям, как я к ним отношусь”), и ей нужно было кое-что докупить, хотя она притащила из Берлина целый чемодан подарков. Поэтому, с трудом пробившись через толпу (“Тут жизнь бьет ключом, ничего не скажешь”, — заметил Лайонс), мы зашли к меховщику. Там самым дешевым был соболий жакетик, продававшийся или, скорее, не продававшийся, за 11 000 долларов. После этого мы побывали в антикварном магазине, если верить Интуристу, самом “шикарном” в Ленинграде.

Антиквариатом при ближайшем рассмотрении оказались подержанные телевизоры, ведерко для льда, старый американский электровентилятор, несколько видавших виды бидермайеров и несчетное число картин, изображавших сцены исторического характера, но не значения.

— Чего вы ожидали, лапушка? — спросила меня миссис Гершвин. — Русского антиквариата нет. А что есть, то французское.

В поисках икры мы зашли в два местных Вандома, магазина деликатесов; там были африканские ананасы, израильские апельсины, китайские ли-чжоу — но икры не было и в помине.

— Ну откуда, откуда я взяла, что рабочие мажут икру на хлеб вместо масла? — убивалась миссис Гершвин. Она, по ее словам, удовольствовалась бы чашкой чая, и это привело нас в советский вариант Шрафта. Это была подвальная темница, где официантки в сапогах, с бумажными коронами на голове, вброд пробирались по залитым мокрой грязью полам, разнося мороженое и неправдоподобные пирожные кучкам угрюмых немолодых женщин. Но миссис Гершвин пришлось обойтись без чая, так как мест не было, даже стоячих.

Пока никто не сделал ни одной покупки. Миссис Гершвин решила попытать какой-нибудь универмаг. По дороге Лайонс, запасшийся фотоаппаратом, то и дело останавливался и снимал продавщиц спичек, вишневощеких девушек, тащивших елки, и цветочные лотки на углах, которые зимой торгуют искусственными розами и бумажными тюльпанами, засунутыми в горшки, как настоящие. Каждая его фотографическая вылазка порождала затор в пешеходном движении и галерею молчаливых зрителей, которые, когда он снимал их тоже, улыбались, а иногда хмурились. В какой-то момент я заметил человека, который маячил среди зрителей, но как бы к ним не относился. Это был

крупный кривоносый мужчина, все время державшийся позади. На нем было черное пальто и каракулевая шапка, а пол-лица скрыто громадными темными очками, какие носят лыжники. Не доходя до универмага, я потерял его из виду.

Универмаг напоминал луна-парк. Он состоял из прилавков и альковов, уставленных словно призами из тира: дешевыми куклами, уродливыми самоварами, гипсовыми зверюшками, туалетными наборами в гнездышках из мягкого шелка, каким обивают гробы. Миссис Гершвин едва не стало дурно от запаха протухшего клея, и нам пришлось быстро уйти из отдела кожтоваров, и еще быстрее — из отдела парфюмерии. За нами по магазину следовали толпы, и когда в алькове, отданном шляпам, я начал мерить шапки из каракуля, вокруг сгрудилось не меньше тридцати ухмыляющихся, толкающихся русских. Они требовали, чтобы я купил вон ту или вот эту, нахлобучивали одну за другой мне на голову и приказывали продавщице нести еще и еще, пока шляпы не стали падать с переполненного прилавка. Кто-то, наклонившись, поднял с пола упавшую шляпу; это был человек в лыжных очках. Шляпа, которую я выбрал наугад в отчаянной спешке, оказалась не того размера. Эта поделка из фальшивого каракуля стоила 45 долларов; а благодаря сложной системе оплаты, принятой во всех советских магазинах, от последней бакалейной лавочки до ГУМа, на реализацию сделки понадобилось сорок минут. Вначале продавец дает вам квитанцию, и вы несете ее в кассу, где переминаетесь с ноги на ногу, пока кассирша производит вычисления на счетах — метод, несомненно, эффективный, но лучше было бы, если бы какой-нибудь изобретательный советский человек придумал автоматическую кассу; после того как деньги уплачены, кассирша ставит на квитанции штамп, и вы несете ее обратно продавцу, который к этому моменту обслуживает еще пятерых человек; в конце концов он все-таки примет квитанцию, сходит к кассиру для проверки, вернется, выдаст вам покупку и отправит в отдел упаковки, где вы выстоите еще одну очередь. По завершении этого процесса мне была выдана шляпа в зеленой коробке.

— Солнышко, умоляю, — взмолилась миссис Гершвин, когда Лайонс тоже захотел купить шляпу, — не заставляйте нас опять через все это проходить.

Когда мы уходили из магазина, лыжных очков видно не было. Однако вскоре они вынырнули на обочине группки, смотревшей, как Лайонс фотографирует торговцев елками в заснеженном дворе. Там-то я и забыл коробку со шляпой, которую, видимо, поставил на минутку на землю, чобы похлопать онемевшими руками. Потерю я заметил лишь через несколько кварталов.

Лайонс и миссис Гершвин великодушно выразили готовность идти на поиски, но оказалось, в этом нет необходимости — ибо, повернувшись, мы увидели направлявшиеся к нам Лыжные Очки, в его руках болталась зеленая коробка. Он передал ее мне с улыбкой, сморщившей кривой нос. Я едва успел его поблагодарить — он приподнял шляпу и ушел.

— О-хо-хо, подумать только, какое совпадение! — радостно загукал Лайонс, и проницательные глаза его заблестели оживлением. — Ну, от меня-то он не укрылся!

— От меня тоже, — призналась миссис Гершвин. — Но, по-моему, это просто восторг. Чудно, что о нас так заботятся. Чувствуешь себя до того защищенной. Ну правда, лапушка, — она явно решила во что бы то ни стало убедить Лайонса в своей правоте, — ну разве не приятно, что в России нельзя ничего потерять?

После ланча в “Астории” я подымался на лифте к себе в номер вместе с Айрой Вольфертом, бывшим военным корреспондентом, который вроде бы собирался писать для “Ридерз Дайджест” статью об Эвримен-опере.

— Только вот никак сюжет не найду, — жаловался Вольферт. — Видишь все одно и то же. А поговорить не с кем. С русскими то есть. У меня прямо клаустрофобия начинается: как только заведешь разговор о политике — сразу все те же обрыдшие фразы. Беседовал я тут с Савченко, он вроде неглупый мужик, ну я его и спрашиваю, это ведь частный разговор, неужто вы вправду верите в то, что говорите об Америке? Ну, вы знаете, он говорил, что у нас всем правит Уолл-стрит. С ними невозможно разговаривать. В этом их соцреализме ни капли реализма. Вчера вот разговариваю с одним русским — не буду называть, из тех, с кем мы познакомились, — так он сует мне записку. Просит позвонить его сестре в Нью-Йорке. Потом встречаю его на улице. Отвожу в переулок и говорю: “Что здесь, черт побери, творится?” А он отвечает: “Все в порядке, но лучше не высовываться”. Все в порядке, только он мне записки сует! — Вольферт прикусил курительную трубку и покачал головой. —

Ни капли реализма. Сплошная клаустрофобия.

Отворяя дверь номера, я слышал, что внутри звонит телефон. Звонил поклонник мисс Райан Степан Орлов, с которым я познакомился на балете. Он сказал, что звонил мисс Райан, но никто не отвечает. Я посоветовал позвонить в апартаменты Бринов, так как мисс Райан устроила себе офис в одной из их комнат.

— Нет, — ответил он нервным и извиняющимся тоном, — мне не стоит опять звонить. Так сразу. Но когда я смогу повидать

Нэнси? И вас? — добавил он тактично.

Я спросил, не зайдет ли он в гостиницу, выпить и поговорить. Последовала пауза, такая длинная, что я решил, что нас разъединили. Наконец он ответил:

— Это не очень удобно. Но, может быть, встретимся, скажем, через час?

— Конечно, — сказал я, — только где?

— Обогните собор. Исаакий. Идите, не останавливайтесь, я вас увижу. —

И он, не попрощавшись, повесил трубку.

Я спустился к Бринам и рассказал мисс Райан о приглашении. Она очень обрадовалась — я знала, что он позвонит! — но тут же пала духом.

— Мне надо срочно напечатать эту штуку в шести экземплярах, — объяснила она, вставляя в машинку слои бумаги и копирки. “Штука” оказалась двухстраничным письмом Брина американскому послу в России Чарльзу Болену. Письмо начиналось с благодарности за то, что посол с супругой приедут в Ленинград на премьеру “Порги и Бесс”; но основная часть послания была выдержана в тоне огорченном и недовольном. Дело в том, что совершалось-то советское турне с ведома и согласия американского Госдепартамента, но официально спонсором мероприятия он не был. Более того, финансовую базу турне заложило советское Министерство культуры. Невзирая на это, Брин считал “глубоко огорчительным”, что к труппе не приставили кого-нибудь из посольства, кто стал бы свидетелем “ежедневных, ежеминутных личных контактов и стихийных проявлений дружеского тепла”. Это, по мнению Брина, было необходимо, если посольство собирается “подготовить об этом беспрецедентном начинании полный и всесторонний отчет, которого все ожидают”.

“Необходимость такой документации связана не только с нынешним визитом доброй воли, при всей его важности, но и с культурным обменом в будущем, — писал Брин. — Трудно представить, какие усилия мы предприняли, чтобы все прошло гладко, и какое бесконечное количество мелочей надо предусмотреть, чтобы обмен принес желанные плоды. Такого рода документация призвана отмечать не только успехи, но и аспекты, нуждающиеся в улучшении, а также возможные неудачи”.

— Степану нежнейший привет, — наказывала мисс Райан, когда я уходил на свидание. — Если это будет стихийное проявление дружеского тепла, обязательно расскажи, я занесу в бортовой журнал.

Имелся в виду дневник “Порги и Бесс”, который вело начальство.

От “Астории” до полуготической массы Исаакиевского собора рукой подать. Я вышел точно в три тридцать — время, назначенное Орловым, — но, выйдя, сразу же увидел Лыжные Очки. У обочины стоял интуристский ЗИС, и впереди сидел этот человек, разговаривая с водителем. Первой моей мыслью было вернуться в гостиницу; это было, вероятно, разумно, поскольку Орлов не хотел, чтобы о нашем рандеву знали. Но потом я решил не торопясь пройти мимо машины и посмотреть, что будет; при этом нервозность и смутное чувство этикета побудили меня кивнуть человеку. Он зевнул и отвернулся. Я пересек площадь и, оказавшись в тени Исаакия, оглянулся. Машины на месте не было. Я побрел вокруг собора, делая вид, что любуюсь им. Делать вид было незачем, тротуары были пусты, но меня не покидало чувство, что я у всех на виду совершаю нечто не вполне законное. Тьма крылом охватила небо, как воруны, с карканьем кружившие над головой. На третьем круге у меня появились подозрения, что Орлов передумал. Чтобы забыть о холоде, я начал считать шаги, но, насчитав 216, повернул за угол и наткнулся на сцену, от которой ход чисел остановился, как разбитые часы.

Происходило следующее: четверо мужчин в черном стояли против пятого, прижатого к стене собора. Они молотили его кулаками, швыряя вперед и с размаху ударяя корпусом, как американские футболисты, тренирующиеся на резиновой кукле. В сторонке стояла женщина, прилично одетая, с сумкой под мышкой, как будто ожидая, пока приятели закончат деловой разговор. Не будь вороньего карканья, это был бы кадр из немого фильма: никто не издавал ни звука. Когда четверо нападавших отпустили пятого, оставив его распростертым на снегу, они, равнодушно глянув на меня, вместе с женщиной зашагали прочь, не обменявшись ни словом. Я подошел к лежавшему. Это был толстяк, такой тяжелый, что мне было бы его не поднять, и от него разило сивухой так, что скорпионы бы не выдержали. Крови не было, он был в сознании, пытался заговорить и не мог; он смотрел на меня снизу вверх, как глухонемой, пытающийся объясниться глазами.

Подъехала машина с зажженными фарами. По черно-белым клеткам на дверцах я понял, что это такси. Задняя дверца открылась, и меня окликнул Степан Орлов. Наклонившись к нему, я стал объяснять, что произошло, просить помочь человеку, но он спешил, не слушал меня, все время повторял “Садитесь”, “да садитесь же” и наконец с потрясшим меня бешенством — “Идиот!”. С этими словами он втащил меня в машину. Такси

развернулось, и фары высветили лежащего. Пальцы его скребли снег, как щупальца насекомого, безжалостно опрокинутого на спину.

— Прошу прощения, — сказал Орлов уже нормальным голосом, которому сумел придать интонацию искреннего извинения, — но чужие драки… не так уж интересны, понимаете ли. А теперь — удовольствие. Мы идем в “Восточный”. — Он упомянул об отсутствии мисс Райан и выразил “глубокое” сожаление, что она не смогла прийти. — Такую девушку, как Нэнси, хочется сводить именно в “Восточный”. Прекрасная еда. Музыка. Восточная атмосфера.

При том, какой тайной была обставлена наша встреча, мне показалось странным, что теперь мы едем в такое веселое и публичное место, о чем я ему и сказал. Он обиделся.

— Я ничего не боюсь, но я не полный кретин. “Астория” — горячая точка. Понимаете? Туда ходить не стоит. А так, почему бы нам с вами не повидаться? — спросил он сам себя. — Вы — певец, а меня интересует музыка.

Он полагал, что мы с мисс Райан поем в “Порги и Бесс”. Я исправил его ошибку, объяснив, что пишу, и это ему не понравилось. В тот момент он закуривал, и губы его, чуть вытянувшиеся, чтобы задуть спичку, затвердели.

— Корреспондент? — спросил он, оставив спичку гореть. Я сказал, что нет, не в том смысле, какой он имеет в виду. Он задул спичку.

— Не выношу корреспондентов, — сказал он предостерегающе, как бы предупреждая, чтобы я не вздумал ему лгать. — Шваль. А американцы, должен сказать, хуже всех. Шваль на швали.

Мне подумалось, что теперь он, может быть, видит ситуацию в менее безобидном свете, и я сказал, что если такси довезет меня куда-нибудь, откуда можно дойти до “Астории”, то мы дружески распрощаемся. Он истолковал это как протест против его отношения к американским репортерам.

— Извините, вы меня неправильно поняли. Я восхищаюсь американским народом.

Он объяснил, что годы, прожитые в Вашингтоне, были “незабываемо счастливыми.

— Русские, которые жили в Нью-Йорке, всегда свысока относились к русским, которые жили в Вашингтоне; они говорили: “Дорогой мой, Вашингтон — это так скучно, так провинциально!” — Он сам засмеялся, изобразив grande dame*. — Но мне там нравилось. Жара. Американское виски. Ужасно нравилась моя квартира. Откроешь окно, нальешь себе виски, —

он как будто заново переживал все это, — сидишь в одном белье, пьешь виски и слушаешь радиолу на полную громкость. И знакомая есть. А то и две. Какая-нибудь да забежит.

“Восточный” — это ресторан при гостинице “Европейская”, за углом от Невского. Не представляю себе, почему Орлов утверждал, что там восточная атмосфера — разве что из-за нескольких иссохших пальм в кадках. Атмосфера если и была, то обескураживающая: грязноватых желто-коричневых стен и полупустых столиков. Орлов был явно не в своей тарелке, то и дело поправлял галстук и приглаживал волосы. Мы шли по пустому пространству для танцев, а четверо музыкантов, стоявших среди пальм и таких же иссохших, как они, выскребали вальс. По лестнице мы поднялись на балкон, где были неприметные кабинки.

— Вы наверняка думаете, что “Астория” шикарнее, — сказал он, когда нас усадили. — Но это для иностранцев и больших снобов. Здесь — для небольших снобов. Я очень небольшой сноб.

Он явно не мог себе позволить походов в “Восточный”, и это меня беспокоило. Правда, на нем было пальто с роскошным собольим воротником, шляпа из тюленьей кожи. Но костюм его был из плохого, тонкого материала, а накрахмаленная свежесть белой рубашки почему-то подчеркивала обтрепанные манжеты и воротник. Тем не менее он сделал роскошный заказ, и нам принесли четырехсотграммовый графин водки и громадную порцию икры, которая горкой высилась в серебряной мороженице, обложенная гренками и ломтиками лимона. Мельком вспомнив о миссис Гершвин, я принялся за мягкие, несоленые, жемчужно-серые бусинки, съел все до последней, и Орлов, изумившийся быстроте, с какой это было проделано, спросил, не хочу ли я еще. Я сказал, что больше не смогу, но, поняв, что я смогу, он отправил официанта за добавкой, а сам предложил тост за мисс Райан.

— За Нэнси, — произнес он, осушил стопку, затем, снова ее наполнив, — за Нэнси. Очень красивая девушка, — и, наливая третью, — за красавицу Нэнси. Красивая девушка. Красавица.

От быстрого заглатывания водки его бледное, почти красивое лицо раскраснелось. Он сообщил, что может не пьянея выпить “сколько угодно”, но постепенное затухание искорки разума в его красивых голубых глазах опровергало это хвастливое заявление. Ему захотелось выяснить, полагаю ли я, что мисс Райан к нему неравнодушна.

— Потому что, — объяснил он с чрезмерной доверительностью, — она очень красивая девушка и мне нравится.

Я сказал, что заметил, что он о ней очень высокого мнения.

— Но вы думаете, я идиот? Потому что мне под сорок и я уже пять лет женат? — Он положил руку на стол ладонью кверху и показал мне золотое обручальное кольцо. — Никогда не причиню вреда семье, — сказал он благоговейно. — У нас два мальчика и две девочки.

О жене он сказал, что она “не красавица, но мой лучший друг” и что помимо детей их связывают общие интересы, так что их брак — это “серьезно”. Известно, что в России люди свободных профессий редко вступают в брак с кем-то из другой сферы деятельности. Врачи женятся на врачах, адвокаты — на адвокатах. Орловы, как я понял, преподавали математику в одной и той же ленинградской школе. Главным их удовольствием были театр и музыка; они по очереди стояли за билетами на “Порги и Бесс”, но в результате им разрешили купить всего один билет.

— Теперь жена делает вид, что ей вовсе и не хочется. Чтобы я мог пойти.

В прошлом году они в качестве новогоднего подарка друг другу купили телевизор, но теперь жалеют, что потратили деньги на такую “скучную дет-скую игрушку”. Зато его жена любит ходить в кино, а он ходил бы с восторгом, если бы опять стали показывать американские фильмы.

— Хотел бы я знать, что случилось с этой красавицей, Джоан Беннетт? И с этой, Ингрид Бергман? А как там Джордж Рафт? Прекрасный актер! Он еще жив?

Если не считать разногласий по поводу кино, вкусы жены полностью совпадали с его собственными; они даже, по его словам, любят один и тот же вид спорта — “лодочный” — и уже много лет копят на парусную лодку, которую собираются держать в деревне под Ленинградом, где каждое лето проводят два месяца отпуска.

— Я этим живу — плыть на лодке через поэзию наших белых ночей. Непременно приезжайте в белые ночи. Это награда за девять месяцев тьмы.

Водка кончилась, и Орлов, потребовав пополнения, стал ворчать, что я за ним не поспеваю. Он сказал, что ему “противно смотреть”, как я “пригубливаю”, и потребовал, чтобы я “пил как человек” или уходил. Меня поразило, как легко и приятно выпить стопку одним глотком, и это, похоже, не произвело никакого эффекта, кроме щекочущего тепла и ослабления способности критически мыслить. Мне стало казаться, что Орлов прав, что в атмосфере ресторана действительно есть что-то восточное, какой-то мавританский уют, и музыка оркестра, стрекотавшего среди пальм, как цикады, приобрела манящий, ностальгический ритм.

Орлов, который уже начал повторяться, сказал:

— Я хороший человек, и у меня хорошая жена, — повторив это трижды, прежде чем добраться до следующей фразы:

— Но у меня крепкие мускулы. — Он согнул руку в локте. — Я страстный. Страстный танцор. Жаркой ночью, с открытым окном, и радиола на полную мощность. Какая-нибудь да зайдет. И мы танцуем, вот так, с открытым окном, а за окном жаркая ночь. Мне только этого и надо. Потанцевать с Нэнси. Красивая. Очень красивая девушка. Понимаешь? Просто потанцевать. Просто… Где она? — Рука его сгребла скатерть. Столовое серебро загремело на полу. — Почему Нэнси здесь нет? Почему она нам не поет? — Запрокинув голову, он запел: — Missouri woman on the Missisipi with her apron strings Missouri woman drags her diamond rings by her apron strings down the bad Missouri on the Missisipi blues…

Голос его зазвучал громче, он перешел на русский и продолжал орать нечто, смутно напоминающее “Сан-Луи блюз”. Я поглядел на часы. К моему изумлению, было уже девять вечера. Мы просидели в “Восточном” почти пять часов, а это означало, что я не так трезв, как думаю. Осознание и доказательство нанесли удар одновременно, как пара наемных убийц, поджидавших в засаде. Столики начали кружиться, лампы — раскачиваться, как будто ресторан был кораблем, плывшим по бурному морю. По моей просьбе, вернее настоятельному требованию, Орлов потребовал счет, но продолжал петь, считая рубли и спускаясь по лестнице; он в одиночку провальсировал по танцплощадке, не обращая внимания на оркестр, под собственный аккомпанемент: “Missouri woman you’re a bad Missouri woman on the Missisipi blues…”

Перед входом в “Восточный” кто-то торговал резиновыми зверушками. Орлов купил кролика и передал мне.

— Скажи Нэнси — от Степана.

Затем он потащил меня по улице, отходившей от Невского. Когда тротуары исчезли, стало ясно, что мы направляемся не в “Асторию”. В этом районе дворцов не было: я как будто снова брел по трущобам Нового Орлеана,

с неасфальтированными улочками, сломанными заборами, оседающими деревянными домишками. Мы миновали заброшенную церковь, где ветер причитал над куполами, как вдова над могилой. За церковью опять начались тротуары,

а с ними имперский фасад города. Орлов направился к освещенным окнам кафе. Прогулка по холоду его утихомирила и несколько отрезвила. У дверей он сказал:

— Здесь лучше. Для работяг.

Меня как будто швырнули в медвежий ров. Ярко освещенное кафе было до отказа набито горячими телами, сивушным дыханием и запахом мокрого меха от рычащих, скандалящих, хватающих друг друга за грудки посетителей. Во-круг каждого из столиков толпилась куча мужчин.

Единственными женщинами были три похожие как близнецы официантки, дюжие квадратные бабы с лицами круглыми и плоскими, как тарелки. Они не только обслуживали посетителей, но и работали вышибалами. Спокойно, профессионально, со странным отсутствием злобы и с меньшей затратой усилий, чем иному — зевнуть, они отвешивали удар, которым вышибало дух у мужчины вдвое крупнее их. Помоги боже тому, кто вздумал бы сопротивляться. Воительницы надвигались на него втроем, лупили, пока он не падал на колени, и буквально вытирали им пол, оттаскивая бесчувственную оболочку к дверям и выбрасывая в ночь. Некоторые, явно persona non grata, вообще не попадали внутрь: стоило в дверях появиться кому-то нежелательному, как дамы выстраивались в стремительно несущийся клин, вышибавший его на улицу. При этом им не чужда была вежливость. Орлова они встретили улыбкой: думаю, на них произвели впечатление его соболий воротник и дорогая шляпа. Одна из них проводила нас к столику, за которым сидели двое молодых забияк в кожаных пальто, с выступающими челюстями, и велела освободить нам место. Один согласился, другой стал спорить. Она схватила возражавшего за волосы и начала выкручивать ему ухо.

Продавать водку в принципе разрешается только ресторанам высшей категории, а кафе в эту категорию не входило. Поэтому Орлов заказал русский коньяк — отвратительный напиток, поданный в больших, полных до краев чайных стаканах. С беспечностью человека, сдувающего пену с пива, он разом опрокинул треть стакана и спросил, “нравится” ли мне кафе и нахожу ли я его атмосферу “жесткой”? Я ответил, что нравится и что нахожу.

— Жесткой, но не хулиганской, — уточнил он. — В порту — да, там хулиганство. А здесь просто нормальное место. Для работяг. Никаких снобов.

За нашим столиком сидели еще человек восемь. Заинтересовавшись мной, они начали растаскивать меня по частям, как сороки: выдернули из рук зажигалку, стащили с шеи шарф и стали передавать все это из рук в руки, пристально разглядывая, ухмыляясь, показывая — даже самые молодые — испорченные зубы, морщины, не объясняемые возрастом. Ближайший ко мне ревниво старался завладеть моим вниманием.

Сколько ему лет — сорок или семьдесят, — угадать было невозможно. У него не хватало одного глаза, и благодаря этому обстоятельству он умел проделывать фокус, который все время заставлял меня смотреть. Смысл его состоял в пародировании Христа на кресте. Отхлебнув пива, он раскидывал руки и ронял голову. Через минуту струйка пива, как слеза, вытекала из красного зияния его пустой глазницы. Соседям по столу это казалось невероятно смешным.

Другим любимцем кафе был паренек, бродивший по залу с гитарой. Купи ему выпивку — и он пел тебе песню. Спел он и для Орлова, который перевел мне слова, объяснив, что это одна из песен, которые “мы любим”. Это была жалоба моряка, тоскующего по деревне, где прошла его юность, и по утраченной любви по имени Нина. “Ее глаза, зеленые как море”. Парень пел хорошо, с то-скливыми фламенковскими переливами, но чувствовалось, что он не думает о словах. Его мысли и взгляд были обращены ко мне. В белом лице его была грусть, как будто нарисованная, клоунская. Но мне не давали покоя его глаза. Не сразу я понял почему: они напомнили мне глухонемую мольбу в глазах человека, оставшегося лежать на паперти. Когда он закончил, Орлов велел ему спеть другую песню. Но вместо этого парень заговорил со мной.

“I… you… mother… man”. Он знал с десяток английских слов и произносил их с трудом. Я попросил Орлова перевести, и они заговорили по-русски. Звучало это так, как будто парень опять поет. Голос его сплетал в прозе печальную мелодию, а пальцы пощипывали струны гитары. В глазах у него появились слезы, и он стер их, размазав грязные полосы на щеках, как ребенок. Я спросил Орлова, что он говорит.

— Да ничего особенного. Меня политика не интересует.

Что парень говорит о политике, было непредставимо, и я продолжал расспросы. Орлов начал раздражаться.

— Да ерунда это. Муть. Просит, чтобы вы ему помогли.

Слово “помощь” — help — паренек понял.

— Хелп, — сказал он, усиленно кивая. — Хелп.

— Ну, не муть? — сказал Орлов. — Отец, говорит, у него был англичанин, а мать полька, и поэтому, говорит, в нашей стране с ним очень плохо обращаются. Хочет, чтобы вы написали британскому народу. Что-то вроде того. Хочет в Англию.

— Инглиш Мэн, — сказал парнишка, с гордостью показывая на себя. — Хелп.

Как помочь — было непонятно, а он все глядел на меня, и блеск надежды у него в глазах постепенно затмевался отчаянием.

— Хелп, — повторил он с упреком. — Хелп. Хелп.

Орлов дал ему несколько монет и заказал песню. Песня была смешная, с бесконечными припевами, и хотя паренек пел ее вяло, как будто исполняя надоевшую работу, главные строчки с хохотом орали все, даже официантки. Одноглазый, раздосадованный тем, что смеются не над его фокусом, влез на стул и стоял, изображая Христа. Пиво сочилось у него из пустой глазницы и капало по щеке.

Без пяти двенадцать — время закрытия — официантки начали предостерегающе включать и выключать свет. Но посетители продолжали петь, цепляясь за эти последние мгновения, как будто им ужасно не хотелось покидать кафейное братство, выходить на холодную улицу и одиноко брести по морозу домой. Орлов сказал, что пройдется со мной до Исаакиевской площади, но сначала — последний тост. Тост он произнес “за долгую, счастливую жизнь. Так ведь говорят?”. Да, ответил я, именно так.

Парень с гитарой заслонил нам выход. Расходясь, посетители все еще напевали его песню; их голоса отдавались эхом на улице. Официантки выставляли последних завсегдатаев и гасили огни.

— Хелп, — сказал парень, осторожно взяв меня за рукав. — Хелп, — повторял он, глядя на меня в упор, когда официантка по требованию Орлова оттолкнула его, чтобы дать нам пройти. — Хелп, хелп, — крикнул он мне вслед, но тут за нами закрылась дверь, и слова его превратились в смутные звуки, таявшие, как ночной снег.

— Я думаю, он ненормальный, — сказал Орлов.

— Может, Нью-Йорк разбомбили, а мы знать ничего не знаем, — говорил Лайонс финансисту Герману Сарториусу в автобусе, который вез труппу с утренним визитом в Эрмитаж. — Сроду не бывал в таком месте: газету не прочтешь — узнать хоть, что в мире делается. Как в тюрьме.

Сарториус, высокий, седеющий, импозантно учтивый человек, признался, что ему тоже не хватает западных газет, и вслух подумал, не будет ли “некорректно” попытаться узнать в каком-нибудь ленинградском банке курс акций на нью-йоркской бирже.

Как оказалось, за ними сидел именно тот человек, который мог снабдить их всеми необходимыми сведениями. Его бизнес заключался в том, чтобы знать, что делается за “железным занавесом”, в первую очередь в Америке. Это был русский, по имени Джозеф (“зовите меня Джо”) Адамов. Он приехал в Ленинград записать интервью с исполнителями “Порги и Бесс” для радиостанции, которая вещает на страны за пределами советской орбиты. Таланты Адамова используются в передачах, рассчитанных на американцев или, во всяком случае, на

англоязычных слушателей. Передачи состоят из последних известий, музыки и “мыльных опер”, пенящихся пропагандой. Эти радиопьесы просто ошеломляют, причем не грубостью содержания, а тонкостью актерской игры. Голоса, притворяющиеся “среднеамериканскими”, звучат именно по-среднеамерикански: когда человек говорит, абсолютно веришь, что он фермер со Среднего Запада, техасский ковбой, рабочий из Детройта. Даже детские голоса знакомы, как хруст хлебцев Уити или удар по бейсбольному мячу. Адамов похвастался, что ни один из актеров никогда не выезжал из России: их произношение изготовлено здесь, в Москве. Часто сам играя в своих пьесах, Адамов довел американское произношение до такого совершенства, что обманул даже Лайонса, который сказал:

— Прямо оторопь берет. Так и хочется спросить, как его занесло так далеко.

И в самом деле, Адамову место явно на углу Бродвея и 51-й, с экземпляром “Верайети” под мышкой. Сленг его не мешало бы подновить, зато произносилось все несообразно быстро, углом рта.

— Ну, музеи — это не моя стихия, — говорил он, когда мы подъезжали к Эрмитажу, — но если кому такая ерунда нравится, то хата, говорят, знатная, всего полно.

Это смуглый, плосколицый человек лет тридцати пяти, дергающийся, нервно хихикающий, с “держащейся на кофе” оживленностью; его бегающие глаза становятся еще более бегающими, когда он под нажимом вынужден признаться, что выучил английский в Нью-Йорке, где жил с восьми до двенадцати лет с дедушкой-эмигрантом. Сам он предпочитает на американском эпизоде не задерживаться.

— Я пацан был, — объясняет он, как бы говоря: откуда мне было знать?

Живущий в Москве иностранец, хорошо знакомый с Адамовым, заметил, что он “не дурак. Оппортунист — это да, на ходу подметки режет”. А другой московский завсегдатай, итальянский корреспондент, сказал:

— А-а, si, синьор Адамов. Живчик с котом.

Короче говоря, Адамов достиг успеха, а это означает — как везде, но в России особенно, — что он пользуется привилегиями, недоступными рядовому гражданину. Из этих привилегий он больше всего ценит двухкомнатную холостяцкую квартиру на улице Горького: судя по его рассказам, он ведет жизнь турка в гареме.

— Хотите познакомиться с классными девочками — звякните, когда будете в Москве.

Между прочим, кое-кто из труппы “Порги и Бесс”, по его мнению, —“очень даже классные девочки”, особенно большеглазая хористка по имени Долорес (“Делириос”) Суон. В музее, где экскурсантов разделили на взводы по двенадцать человек, Адамов специально включил мисс Суон в группу, куда входили, среди прочих, Вольферты, миссис Гершвин, Нэнси Райан, Уотсон и я.

Эрмитаж — это часть Зимнего дворца, сравнительно недавно перекрашенного в холодный имперский chartreuse-vert.* Мили серебристых окон смотрят на парк и на широкую гладь Невы.

— Зимний дворец начали строить в 1764 году и закончили через семьдесят восемь лет, — сообщила экскурсоводша, мужеподобная девица с манерой “нечего рассусоливать”. — Он состоит из четырех зданий и вмещает, как вы видите, величайший музей мира. Мы стоим перед Посольской лестницей, по которой послы поднимались на аудиенцию к царю.

В кильватере этих мифических послов наша группа поднялась по мраморной лестнице, изгибавшейся под филигранным бело-золотым потолком. Мы прошли, как по дну морскому, по великолепной зале из малахита и увидели окна во всю стену. Некоторые на мгновение остановились поглядеть на знаменитую камеру пыток, Петропавловскую крепость, видневшуюся сквозь дымку на другом берегу Невы.

— Идемте, идемте, — торопила экскурсоводша. — Есть много чего посмотреть, и мы не выполним свою миссию, если будем останавливаться для бессмысленных зрелищ.

Непосредственной нашей миссией было посещение Золотой кладовой.

— Там у них то, что надо, — царские драгоценности и прочая дребедень, — сообщил Адамов мисс Суон.

Запертые двери подвала охранял взвод коренастых амазонок в форме, с пистолетами в кобуре. Адамов, показав большим пальцем на охрану, сказал Уорнеру Уотсону:

— Спорим, у вас в Америке нет баб-ментов?

— Ну почему же, — робко сказал Уотсон. — Конечно, у нас есть женщины-полицейские.

— Есть-то есть, — сказал Адамов, и влажное луноподобное лицо его побагровело от смеха, — но не такие толстухи, верно?

Пока отмыкались сложные замки на стальных дверях хранилища, экскурсоводша объявила:

— Дамы, оставьте, пожалуйста, сумки у сторожей.

И добавила, как бы во избежание очевидного истолкования этих слов:

— Дело в том, что дамы могут уронить сумки и причинить

ущерб. Такое бывало.

Хранилище разделено на три небольших, освещенных канделябрами помещения. Первые два отведены под уникальнейшую из экспозиций музея, изысканную панораму скифского золота: браслетов и пуговиц, холодного оружия, тонких, как бумага, листьев и цветочных венков.

— Первого века штуковины, — сказал Адамов. — До нашей эры, нашей эры, всякая такая мура.

Третья комната скучнее и ослепляет великолепием. Дюжина застекленных прилавков (с металлическим штампом производителя: Холланд и Ко., 23 Маунт Стрит, Гросвенор Сквер, Лондон) пылала огнями аристократических безделушек. Трости из оникса и слоновой кости, птицы с изумрудными язычками, букет лилий из жемчуга, букет роз из рубина, кольца и шкатулки, рябившие дрожащим блеском, как воздух в жаркий день.

Мисс Суон пропела: “Бри-бриллианты — лучший друг девчонки”; кто-то крикнул: “Эрла Джексона сюда, где он?” — и ему ответили: “Ты ж понимаешь, этот котяра так рано не подымется. Ну, будет жалеть, что пропустил! С его-то стекляшками”.

Адамов прочно встал перед прилавком, где была коллекция Фаберже — и один из немногих миниатюрных символов царской власти — корона, держава и скипетр.

— Прелесть какая, — вздохнула мисс Суон. — Правда, мистер Адамов?

Адамов по-отечески улыбнулся.

— Главное, тебе нравится, малышка. По мне, так это все сплошная дрянь. Кому от этого польза?

Айра Вольферт, жевавший незажженную трубку, похоже, был того же мнения.

— Терпеть не могу драгоценностей, — сказал он, сердито глядя на поднос со сверкающими безделушками. — Не отличаю циркония от бриллианта. Разве что цирконий лучше. Больше блестит.

Он обнял за плечи жену.

— Слава богу, жена у меня не любит украшений.

— Да нет же, Айра, люблю, — сказала миссис Вольферт, уютная женщина, склонная высказывать твердые убеждения в полувопросительном тоне. — Я люблю произведения искусства. А это все — обман и мишура. Когда я на такое гляжу, то просто заболеваю.

— Я тоже, но по-другому, — сказала мисс Райан, — Все бы отдала вон за то колечко — с тигровым глазом.

— Я от такого просто заболеваю, — повторила миссис

Вольферт. — Такие вещи я не называю произведениями искусства. Вот это, — она указала на свою простенькую брошку из мексиканского серебра, — я называю произведением искусства.

Миссис Гершвин тоже занималась сравнениями.

— Мне ничто подобное даже не снилось, — говорила она, потерянно перебирая свои бриллианты. — Лучше бы не приходить. Меня такая злость берет — так бы и треснула мужа.

— Если бы можно, вы бы что взяли? — спросила мисс Райан.

— Все, солнышко, — ответила миссис Гершвин.

Мисс Райан кивнула.

— Точно, а дома разложить это все на полу, раздеться догола — и кататься.

Вольферту ничего этого было не нужно, он хотел “выбраться отсюда и поглядеть на что-нибудь интересное”, о чем и сообщил экскурсоводше. Она в ответ препроводила всех к выходу и пересчитала выходивших по головам. Километров через шесть поредевшая группа приволоклась в последний выставочный зал на ногах, подгибавшихся от двухчасового осмотра египетских мумий и итальянских мадонн, глазения на прекраснейших, но чудовищно развешенных старых мастеров, ощупывания гробницы Александра Невского и изумления парой Голиафова размера сапог, принадлежавших Петру Первому.

— Которые этот прогрессивный человек, — сказала экскурсоводша, — сделал своими руками.

В последнем зале она велела нам “подойти к окну и посмотреть на висячие сады”.

— Но где, — проблеяла мисс Суон, — где эти сады?

— Под снегом, — сказала экскурсоводша. — А это, — и она показала на последний номер программы, — это наш знаменитый павлин.

Павлин, экзотическая причуда работы часового мастера XVIII века Джеймса Кокса, был привезен в Россию в подарок Екатерине Второй. Игрушка заключена в стеклянную клетку размером с садовую беседку. В центре — павлин, примостившийся среди золоченой листвы бронзового дерева. Рядом на ветках сидят филин, петух и белка. У подножия дерева разбросаны грибы, один из которых образует циферблат часов.

— Когда бьет час, происходят интереснейшие события, — объяснила экскурсовод. — Павлин распускает хвост, петух кукарекает, филин моргает, а белка грызет орех.

Адамов хмыкнул.

— Мне начхать, что она делает. Дурь сплошная.

Мисс Райан устроила ему нагоняй. Почему, хотела бы она знать, он так относится к “продукту творческого воображения”?

Адамов пожал плечами.

— Что тут творческого? Куча работяг слепнет, чтобы миледи смотрела, как павлин распускает хвост. Гляньте на эти листья. Сколько труда, подумать страшно! И все ради ерунды. Бесполезной дряни. Ты что это, малыш? — Ибо мисс Райан начала что-то записывать в блокнот. — Ты что, записываешь все мои глупости?

Пораженная, мисс Райан объяснила, что записывает новое впечатление от игрушки.

— М-м, — сказал он голосом, далеко не таким добродушным, как его улыбка. — Думаешь, я кретин, да? Ладно, записывай. Я тебе скажу, почему мне это не нравится: потому что я сгнию, а этот павлин все будет хвост распускать. Все музеи таковы. Напоминания о смерти. О смерти, — повторил он с нервным смешком, перешедшим в безрадостный гогот.

К павлину подошла куча солдат из другой экскурсии. Тут как раз стали бить часы, и солдаты, бритоголовые деревенские парни в унылых форменных штанах, провисавших на заду, как пеленки, оказались перед двойным волшебством: они пялились на иностранцев и смотрели, как в бледном свете Зимнего дворца мигают золотые глаза филина и светятся бронзовые перья фазана. Американцы и солдаты теснились поближе к часам, послушать пение петуха. Человек и искусство, на мгновение вместе, живые, неподвластные старухе Смерти…

Был Сочельник. Переводчики из Министерства культуры, под руководством Савченко, собственноручно установили в асторийской столовой елку и украсили ее самодельными открытками и паутинками золотого дождя. Актеры, размякшие по случаю четвертого совместного Рождества, накупили друг другу тонны подарков: елку опоясывал двадцатифутовый ковер пестрой ленточно-целлофановой неразберихи. Подарки предстояло открыть ровно в полночь. Но полночь уже давно пробила, а мисс Райан у себя в комнате все еще заворачивала пакеты и рылась в чемоданах, выискивая безделушки взамен подарков, которые не позаботилась купить.

— Может, подарить кому-нибудь из детишек кролика? — сказала она. Речь шла о резиновом кролике, которого ей передал через меня Степан Орлов. Кролик уютно устроился у нее на постели среди подушек. Она чернилами навела ему усы, а на боку написала печатными буквами: “Степан-кролик”.

— Нет все-таки, — решила она. — Подарю — так никто в жизни не поверит, что я подцепила русского ухажера. Вернее, чуть не подцепила.

Орлов больше не звонил.

С моей помощью мисс Райан отнесла подарки в столовую, как раз к окончанию раздачи даров. Ради праздника детям разрешили не ложиться, и теперь они, как самум, носились по обрывкам оберточной бумаги, прижимая к груди новых кукол и паля газировкой из водяных пистолетов. Взрослые танцевали под звуки русского джаз-банда, доносившиеся из соседнего зала, где был ресторан. Мимо пронеслась в танце миссис Брин, с обрывком серпантина на шее.

— Дивно, правда? — сказала она. — Вы ведь рады? Все-таки не каждое Рождество встречаешь в Ленинграде!

Официантки — студентки английского отделения, добровольно вызвавшиеся обслуживать сегодня американскую труппу, — скромно отказывались танцевать.

— Да плюнь, киска, — воззвал кто-то к одной из них, — давай возьмем и расплавим этот их занавес.

Водка, пособница праздничной атмосферы, постепенно растопила сдержанность представителей Министерства культуры. Каждый из них получил от труппы подарки, и мисс Лидия, которой досталась пудреница, целовала всех без разбора.

— Как мило, как любезно, — говорила она, неустанно созерцая в зеркальце свое одутловатое лицо.

Даже угрюмый Савченко, холодный как лед Санта-Клаус, или Дед Мороз, как его называют в России, казалось, готов был забыть о своем достоинстве, — во всяком случае не протестовал, когда к нему на колени плюхнулась юная хористка и стала целовать, приговаривая:

— Ну что ты глядишь сварливым старым медведем? Ты же просто душка, вот ты кто, мистер Савченко!

Брин тоже нашел слова симпатии для начальника из Министерства культуры.

— Выпьем за человека, которого мы должны благодарить за прекрасный праздник, — сказал он, воздев к небу стопку водки, — за нашего лучшего друга, Николая Савченко.

На что Савченко, утерев с губ помаду, ответил тостом:

— За свободный культурный обмен между нашими странами. Когда говорят пушки, музы молчат, — в сотый раз процитировал он свой любимый афоризм. — Когда молчат пушки, музы слышны.

Радиочеловек из Москвы “Джо” Адамов деловито записывал моменты праздника на портативный магнитофон. Восьмилетний Дэви Бей, которому было предложено высказаться, произнес в адамовский микрофон:

— Здравствуйте все, с Рождеством вас. Папа хочет, чтобы я шел ложиться, но нам здорово весело, и я не пойду. А еще мне

подарили кораблик и пистолет, но вообще-то я хотел самолет и не столько одежек. Здесь всем ребятам понравится, приезжайте с нами играть! У нас есть жвачка, и я знаю хорошие места для пряток.

Адамов записал также “Тихую ночь, святую ночь”, которую актеры, собравшись вокруг елки, спели на такой громкости, что заглушили “умпа-умпа” оркестра из соседнего зала. Актерам подпевали Айра Вольферт с женой. Вольферты, у которых взрослые дети, заказали телефонный разговор с Америкой.

— Сегодня вечером все наши дети соберутся вместе, а завтра разъедутся кто куда, — сказала миссис Вольферт, когда псалом был допет. — Ох, Айра, — она сжала руку мужа, — мне никаких подарков не нужно, лишь бы разговор состоялся.

Разговор не состоялся. Они прождали до двух часов ночи и пошли спать.

После двух рождественская вечеринка постепенно просочилась в соседний зал, “ночной клуб” Астории, которому по субботам, в единственный день, когда посетителей там больше, чем обслуживающего персонала, разрешается работать после полуночи. Советская манера сажать вместе незнакомых людей не способствует оживленной беседе, и в громадном, мрачном зале, набитом сливками ленинградского общества, было неестественно тихо. Считаные единицы, главным образом молодые офицеры, танцевали под чинную музыку со своими девушками. Остальные — актеры, режиссеры, художники, группа китайских военных, комиссары с тяжелыми подбородками и их разбухшие золотозубые жены — неподвижно сидели за столиками, ко всему безразличные, как будто их выбросило кораблекрушением на коралловый риф.

Мгновенно оценив обстановку, Эрл Брюс Джексон сказал:

— Эй, фрайера, как насчет подбавить жару, чтобы небо с овчинку?

Пятеро исполнителей тут же реквизировали эстраду. Гостиничные музыканты и не думали возражать. Все они были поклонниками американского джаза, а один, приверженец Диззи Гиллеспи, собрал громадную коллекцию, слушая иностранные радиопередачи и записывая музыку на пластинки, сделанные из старых рентгеновских снимков. Джуниор Миньят поплевал в трубу, Лоренцо Фуллер ударил пальцами-бананами по клавишам, Мозес Ламар, громила с лужеными легкими, затопал ногой, отбивая такт, и разинул громадную, как у аллигатора, пасть:

— Grab you’hat, grab you’ coat, leave yo’worry on de do’step…

Эффект был такой, как будто потерпевшие крушение завидели на горизонте корабль. На лицах прорезались улыбки,

как развернутые флаги; столики опустели — все ринулись танцевать.

— … just direct yo'feet…

Суворовец-китаец отбивал чечетку, русские теснились у эстрады, завороженные наждачным голосом певца, неотступным барабанным фоном.

— ...to de sunny sunny SUNNY… — пары раскачивались, обнявшись, — …side ah de street!

— Зомби-то как дергаются! — заметил Джексон и прокричал Ламару: — Они спеклись, парень, спеклись. Плесни-ка бензинчику, пусть еще веселее скачут. Ла-ба-ди-ди-да!

Миссис Брин, пастушка, с улыбкой взиравшая на своих овечек, повернулась к Лайонсу:

— Вот видите? Мы их прошибли. Роберту удалось то, что не удавалось дипломатам.

На что скептик Лайонс ответил:

— Я так скажу: Рим горит, а скрипки играют.

За одним из столиков я заметил Присциллу Джонсон, товарку мисс Райан, изучавшую российское право и писавшую, по ее словам, статьи о советских любовных нравах. Она сидела с тремя русскими, один из которых, шишковатый небритый тролль с пенистыми черными волосами, плеснул в стакан шампанского и сунул мне.

— Он хочет, чтобы вы подсели к нам, и лучше не кочевряжьтесь, — посоветовала мисс Джонсон. — Он дикарь или что-то вроде того. Но жутко интересный.

Это был грузинский скульптор, несущий ответственность за героические статуи в новом ленинградском метро. Его "дикарство" проявлялось во внезапных диких заявлениях.

— Видишь вон того, в зеленом галстуке? — спрашивал он по-английски, указывая на человека в другом конце зала. — Жалкий трус. МВД. Хочет мне неприятностей.

Или:

— Мне на Западе нравится. Я когда был в Берлине, познакомился с Марлен Дитрих. Она в меня втюрилась.

Двое других, муж и жена, молчали, пока мисс Джонсон со скульптором не отправились танцевать. Тогда женщина, бледная как смерть брюнетка с монгольскими скулами и зелеными миндалевидными глазами, сказала мне:

— Какой отвратительный человечишко. Грязный какой. Грузин, конечно. Эти южане!

Она говорила по-английски с напускной изысканностью, с напряженной старательностью Лизы Дулиттл.

— Я мадам Нервицкая. Вы, конечно, знаете моего мужа,

шансонье, — сказала она, представляя мне джентльмена вдвое старше ее, лет пятидесяти с гаком, когда-то красивого человека, со вздутым животом и обвисшим подбородком. Он был загримирован: пудра, карандаш для бровей, чуть-чуть румян.

Когда выяснилось, что я о нем никогда не слышал, жена его была поражена.

— Не знаете Нервицкого? Знаменитого шансонье?

Изумление ее было оправданно. В Советском Союзе Нервицкий — знаменитость, идеал юных девушек, которые умирают от его исполнения баллад. В двадцатые и тридцатые годы он жил в Париже, где пел в кабаре и имел некоторый успех. Когда с этим начались перебои, поехал в турне по притонам Дальнего Востока. Жена его, хотя и русского происхождения, родилась в Шанхае. Там она познакомилась с Нервицким и вышла за него замуж. В 1943 году они переехали в Москву, где она стала сниматься в кино, но без особого успеха.

— Вообще-то я художница. Но не собираюсь подольщаться к тем, от кого все зависит. А это необходимо, чтобы выставляться. И потом, когда разъезжаешь, очень трудно писать.

Нервицкий практически круглый год разъезжает по России с концертами. В данный момент у него была серия концертов в Ленинграде.

— У Нервицкого аншлаг больше, чем у негров, — сообщила его жена. — Мы идем к неграм на премьеру. — Она добавила, что это наверняка будет “восхитительно”, потому что “негры такие забавные, а здесь забавного мало”. — Работа, работа и все. Мы так устаем, что нам не до забав. Вам не кажется Ленинград абсолютно мертвым? Прекрасным трупом? А Москва! Москва не такая мертвая, зато какое уродство! — Она сморщила носик и содрогнулась. — Вы из Нью-Йорка, мы вам, наверное, кажемся ужасно убогими? Скажите правду. Я очень убого одета?

Мне так отнюдь не казалось. На ней было простое черное платье, на шее золотая цепочка, на плечах — норковое боа. Собственно говоря, это была самая красивая и элегантно одетая женщина, виденная мной в России.

— Ну да, вам неловко сказать. Но я знаю. Гляжу на ваших приятельниц, на этих американок, и чувствую свою убогость. Ничего приятного, ласкающего кожу… дело не в бедности. Деньги у меня есть… — Она запнулась. К нашему столику возвращались мисс Джонсон со скульптором.

— Извините, — сказала она, — мне бы хотелось вам кое-что сказать наедине. Вы танцуете?

Джаз-банд играл обжимательную “Somebody Loves Me”, и толпа танцующих с ошеломленными, преображенными лицами

слушала скрежещущий голос Ламара. “…who can it be oh MAY-be ba-by MAY-be it’s you!”

Мадам Нервицкая танцевала прекрасно, но мускулы ее были напряжены, руки холодны как лед.

— J’adore la musique des negres.* Она такая порочная. Такая отвратительная, — сказала она и тут же, не переводя дыхания, зашептала скороговоркой мне в ухо: — Для вас и ваших друзей в России все, должно быть, очень дорого. Послушайте моего совета, не меняйте доллары. Продайте вашу одежду. Только так можно получить рубли. Продайте. У вас любой купит. Если без шума. Я живу здесь, в гостинице, номер пятсот двадцать. Скажите приятельницам, чтобы несли мне туфли, чулки, то, что поближе к коже. Что угодно, — говорила она, впившись ногтями мне в рукав, — скажите им, я куплю что угодно. Все-таки, — вздохнула она уже обычным голосом, поверх вскриков Миньятовой трубы, — все-таки негры — это сплошное очарование.

Немного в стороне от Невского стоит здание с аркадами, напоминающее собор Св. Петра. Это Казанский собор, главный антирелигиозный музей Ленинграда. Внутри, в атмосфере витражного мрака, начальство устроило гран-гиньольный обвинительный акт против церковных догматов. Статуи и зловещие портреты пап чередой следуют по галереям, как процессия колдунов. С бесчисленных карикатур косятся священнослужители, делающие развратные предложения монашеского вида женщинам, упивающиеся оргиями, угнетающие бедняков, и пирующие богачи. Музей демонстрирует свой любимый тезис: Церковь,

в особенности католическая, существует единственно для охраны капитализма. На одной из карикатур, громадной, написанной маслом, Рокфеллер, Крупп, Хетти Грин, Морган и Форд роются руками в горе монет и окровавленных касок.

Казанский собор любят дети. Это и понятно, ибо экспозиция изобилует сценами пыток и зверств из комикса ужасов. Учителя, ежедневно прогоняющие сквозь музей орды школьников, с трудом оттаскивают их от аттракционов вроде Палаты инквизиции. Палата представляет собой реальное помещение, населенное восковыми, в человеческий рост, фигурами четырех инквизиторов, наслаждающихся муками еретика. Обнаженная жертва прикована к столу, и двое истязателей в масках прижигают ее горящими угольями. Уголья зажигаются электричеством. Дети, которых все-таки удалось оттащить, то и дело прокрадываются обратно, взглянуть еще разок.

Снаружи, на колоннах, поддерживающих аркады собора, развернута другая экспозиция. Грубые рисунки мелом, заурядные

граффити из мужской уборной. О них и упоминать бы не стоило, просто вначале видеть их здесь странно. Но потом понимаешь, что нет, не странно. В каком-то смысле именно здесь им и место.

Среди экскурсий, запланированных хозяевами для труппы “Порги и Бесс”, антирелигиозные музеи не фигурировали. Наоборот, в воскресенье, в Рождество, они предложили на выбор католическую мессу или баптистскую службу. Одиннадцать членов труппы отправились в ленинградскую баптистскую церковь, насчитывающую две тысячи прихожан. Среди этих одиннадцати была Рода Боггс, играющая в спектакле продавщицу клубники. Днем я случайно наткнулся на мисс Боггс, одиноко сидевшую в асториевском ресторане. Эта кругленькая, веселая женщина с медового цвета кожей всегда очень прибрана, но сейчас ее лучшая воскресная шляпка съехала набекрень, и она все прикладывала и прикладывала к глазам промокший от слез платочек.

— У меня сердце кровью обливается, — сказала она, и грудь ее затряслась от рыданий. — Я вот с таких лет в церковь хожу, но ни разу так не было, что Иисус здесь, рядом — только руку протянуть. Детонька, Он был там, в церкви, это у них было на лице написано. Он пел вместе с ними, и никогда я не слышала такого пения. Там все больше старички и старушки, а старичкам ни в жисть так не спеть, коли Иисус не подтянет. А потом пастор, чудный такой старичок, говорит нам, цветным: мол, сделайте милость, спойте спиричуэл, — так они слушали, слова не проронив, только все глядели, глядели, как будто им говорят, что Христос всюду, что с ним никто не одинок, то есть они и сами это знали, но вроде как рады были услышать. Ну вот, а потом пора было уходить. Расставаться. И что же, ты думаешь, они сделали? Встали все разом, как один человек, вынули белые платки, машут ими и поют “Бог с тобой, коли встретимся”. Поют, а у самих слезы рекой, и у нас тоже. Детонька, меня просто перевернуло. Крошки проглотить не могу.

До премьеры оставалось меньше суток. В тот вечер окна “Астории” долго не гасли. Всю ночь в коридорах слышались торопливые шаги, телефонные звонки и хлопанье дверей, как при приближении катастрофы.

В апартаментах номер 415 посол Болен с супругой принимали помощников и приятелей, только что прибывших вместе с ними поездом из Москвы. Гости, в том числе второй секретарь посольства Рой Лаури, один из двух дипломатов, проводивших в Берлине “инструктаж” для исполнителей, держались тише воды, ниже травы, так как Боленам хотелось, чтобы об их присутствии стало известно как можно позже. Они

затаились настолько успешно, что на следующее утро Уорнер Уотсон, полагая, что дипломатический контингент прибывает самолетом, отправился в аэропорт с букетом для миссис Болен.

Прямо под посольскими апартаментами, в номере 315, миссис Брин раскачивалась на релаксаторе, как на качелях, а муж ее оттачивал речь, которую собирался произнести перед поднятием занавеса. Кто-то посоветовал ему нейтрализовать таящиеся в “Порги и Бесс” возможности для коммунистической пропаганды, подчеркнув, что в ней изображена не сегодняшяя, а давно миновавшая жизнь американских негров, поэтому он добавил фразу: “„Порги и Бесс” повествует о прошлом. К настоящему она имеет такое же отношение, как к жизни в России при царе”.

В номере 223 сидел за машинкой Леонард Лайонс, печатавший черновик заметки о премьере для газеты “Нью-Йорк Пост”.

“На сцене висели флаги обеих стран, СССР и США, — писал он заранее. — Когда американский флаг вывешивали здесь в предыдущий раз, в Америке было всего 45 штатов. Представитель Министерства культуры специально звонил, узнать, сколько штатов соединено теперь. Вчера главная костюмерша нашила на старый флаг еще три звезды”.

Страница кончилась, Лайонс вставил новую, со свежей копиркой, но старую не выбросил, а отнес в уборную и отправил в небытие. По его мнению, уничтожать использованную копирку было вернее, не то советские, а может быть, конкуренты-репортеры выследят ее и выведают, что он написал. Действительно, гостиница кишмя кишела журналистами. Здесь была “Сатердей Ивнинг Пост”, в лице боленовского шурина Чарльза Тейера. Тейер, как и Сульцбергер из “Нью-Йорк Таймс” приехали вместе с Боленами. “Сатердей Ревью” собиралась направить Гораса Саттона, “Тайм” и “Лайф” уже имели на месте команду журналистов и фотографов, а миссис Ричард О’Молли из московского бюро “Ассошиэйтед Пресс” на всех парах катила в Ленинград экспрессом “Красная стрела”, тем самым, на котором днем раньше прибыл корреспондент Си-би-эс Дан Шорр.

На втором этаже, в номере 111, Шорр, массивный тридцатипятилетний холостяк, одновременно правил рукопись, раскуривал трубку и диктовал по телефону стенографистке в Москву.

— О’кей, вот текст. Шапки сами вставите. Поехали. — И он начал читать с машинописных листов. — “Завтра вечером курсив Порги и Бесс запятая первая американская труппа за всю историю России запятая начнет советские гастроли перед избранной

аудиторией в две тысячи двести человек повторяю две тысячи двести в ленинградском Дворце культуры запятая но еще до спектакля негритянские актеры и певцы имели бешеный успех точка Уже самым фактом своего существования шестьдесят исполнителей произвели невероятное впечатление на этот запятая второй по величине город Советского Союза…” Верно ведь, второй?

Шорр еще минут двадцать бубнил в телефон факты и слухи. Длиннющие очереди ленинградцев всю ночь простояли в снегу, чтобы за 60 рублей (15 долларов) купить билеты, которые за углом продаются вдвое-втрое дороже.

— Погоди-ка, какой синоним для черного рынка, чтоб цензуру проехало? О’кей, пиши “за углом”.

К концу он говорил:

“Они подарили Ленинграду Рождество запятая какого не было в истории точка До четырех утра шло веселье вокруг елки запятая предоставленной заботливым советским правительством запятая с пением рождественских псалмов и спиричуэлз точка…” Да знаю, знаю, это уже через край. Но я волнуюсь, честное слово, сам видишь. Взаимопроникновение культур, и все такое. А вообще-то, знаешь, здесь кайфово. С этими, из “Порги и Бесс”, не соскучишься. Как в цирке.

В понедельник утром исполнители собрались во Дворце культуры на генеральную репетицию. Вначале советские собирались ставить спектакль в милом Мариинском театре, но спрос на билеты был такой, что они решили удвоить прибыль и перенесли постановку в громадный Дворец культуры. Дворец, нагромождение грязно-оранжевого бетона, был сляпан в 1930-е годы. Снаружи он напоминает распадающийся супермаркет, а внутри — каток, прежде всего температурой. Но Дэви Бей, как и другие дети из труппы, решили, что это “клевое место”, особенно широчайшие кулисы, где были черные ниши для пряток, масса канатов, на которых можно качаться, и суровые рабочие сцены, здоровенные мужчины и еще более здоровенные женщины, которые гладили их по головке, угощали леденцами и называли ласкательным именем “Алышка”.

В машине со мной на репетицию ехали два министерских переводчика: мисс Лидия и высокий, представительный юноша по имени Саша. Мисс Лидия, любящая поесть, была вне себя от возбуждения, как будто предвкушала роскошный обед.

— Мы увидим ее, ведь правда? Наконец-то мы увидим эту “Порги—Бесс”, — приговаривала она, ерзая на сиденье. И тут я сообразил, что, конечно же, только сейчас мисс Лидия и ее коллеги из министерства наконец-то смогут сами оценить “эту

Порги—Бесс” — миф, так давно поглощающий их время и энергию. Даже для Савченко это будет впервые.

По дороге мисс Лидия то и дело с восторгом показывала на афиши спектакля. Часто повторявшаяся фамилия “Брин” была набрана крупнее и ярче, чем “Гершвин”, а фамилии отсутствующего ко-продюсера Блевинса не было вовсе. Накануне в разговоре с Уотсоном миссис Гершвин заметила, что в России имя Гершвина “едет в багажном отделении”, на что Уорнер ответил:

— Пойми, Ли, в этот раз главным должен быть Роберт. Он так решил. Ему это просто необходимо.

— Как ты можешь сидеть неподвижно? — осведомилась мисс Лидия у Саши. — Сейчас мы это увидим.

Саша действительно сидел совершенно неподвижно. Вид у него был зеленый, затравленный — и было отчего. Утром Савченко ввел Брина в пике, сообщив, что театральные программки еще в наборе и в ближайшие дни их получить не удастся. Это была настоящая катастрофа: в программках рассказывалось содержание оперы, и Брин боялся, что без них зрители не поймут, что происходит на сцене. Тогда Савченко подсказал решение. Почему бы одному из министерских переводчиков не выходить на сцену перед началом каждого акта и излагать его содержание? Выбор пал на Сашу.

— Куда я дену ноги? — говорил он, уставившись в одну точку, загипнотизированный страхом сцены. — Как мне говорить, когда у меня в горле пересохло?

— Ты только подумай, какая честь! — успокаивала его мисс Лидия. — Там будут важные персоны. Тебя заметят. Если бы ты был моим сыном, Саша, я бы тобой гордилась.

В затемненном зрительном зале Дворца культуры Саша и мисс Лидия нашли места в четвертом ряду. Я сел позади них, между Савченко и “Джо” Адамовым, которые дружно исследовали свои рты с помощью зубочисток. Остальные человек тридцать русских, выцыганивших приглашения на просмотр, взразброс сидели в первых рядах. Среди них были московские журналисты и фотографы, приехавшие освещать премьеру. В яме оркестр, приглашенный из московского Театра Станиславского, легко и уверенно прогонял увертюру. Дирижер, Александр Смолленс, американец русского происхождения, дирижировавший всеми воплощениями “Порги и Бесс” (в том числе и первым, 1935 года), сказал, что оркестр из Театра Станиславского — шестьдесят первый в его жизни и лучший из всех.

— Блестящие музыканты, работать с ними — одно удовольствие. Обожают партитуру, есть темп, есть ритм. Теперь

только чуть больше страсти — и все.

На авансцене появился Брин, в берете, куртке и облегающих ковбойских штанах. Он жестом показал исполнителям, что пора выстраивать мизансцену первого явления. Тусклые репетиционные лампы над головой затеняли лица актеров, обесцвечивали декорации и подчеркивали их морщинистую изношенность. Декорации, несложные, чисто функциональные, изображали угол Кэтфиш Роу — домишки с балконами и закрытыми ставнями. И вот, повинуясь сигналу Брина, сопрано, перегнувшись через балконные перила, начала песню, которой открывается опера, “Summertime”. Мисс Лидия эту мелодию узнала. Она покачивала головой в такт и напевала себе под нос, пока Савченко не постучал ее по плечу, пробурчав замечание, от которого она съежилась.

В середине спектакля Адамов ткнул меня локтем и сказал:

— Я нормально говорю по-английски, нет? Так вот, мне не понять, чего они вопят. Диалект этот хренов! Думаю… — но я так и не узнал, что он думает, ибо Савченко обернулся и посмотрел на нас взглядом, удавившим Адамова. Прочие русские хранили молчание, какого и Савченко не мог бы пожелать. Суровые профили, вырисовывавшиеся в свечении, шедшем от сцены, были так же мало обезображены выражением, как профили на монетах.

После того как была пропета последняя ария, все молча проследовали в раздевалку. Савченко с мисс Лидией, Сашей и еще двумя министерскими юношами, Игорем и Генри, вместе ждали пальто в гардеробе. Я подошел к ним и спросил мисс Лидию, что она думает о виденном. Она прикусила губу и бросила взгляд на Савченко, который твердо сказал:

— Интересно. Крайне интересно.

Мисс Лидия кивнула, но ни она, ни Саша, ни Игорь с Генрихом не рискнули употребить какое-нибудь другое определение.

— Да, — говорили они все, — интересно. Крайне интересно.

“Порги и Бесс” продолжается в среднем два с половиной часа, но этот последний прогон, со множеством остановок, длился с десяти утра до двух. Исполнители, раздраженные от голода и мечтавшие поскорее оказаться в гостинице, были очень недовольны, когда после ухода русских зрителей Брин уведомил их, что репетиция еще не закончена. Он собирался перережиссировать выходы на аплодисменты.

На сегодняшний день, притом что в одиночку на вызовы выходили только исполнители двух главных ролей, прощальные выходы занимали уже шесть минут. Немногие спектакли могут надеяться, что зрители будут аплодировать в течение шести

минут. Но теперь Брин решил растянуть эти шесть минут до бесконечности, превратив их практически в “отдельный маленький спектакль”.

— Легкая импровизация, — говорил он. — Вроде повтора на бис.

Идея состояла в том, что под барабанный бой по сцене пройдет каждый участник труппы, маша публике, подмигивая и напрашиваясь на аплодисменты. Решено было, что почести от зрителей получат даже бутафор, костюмерша и электрик, не говоря уже о режиссере. Одно из двух: либо Брин рассчитывал на вулканические овации, либо опасался обратного и решил обеспечить продолжительные аплодисменты постановкой этого “стихийного” дополнительного выхода. Естественно, в столь деликатных дипломатических обстоятельствах зрители не станут уходить, пока на сцене еще как бы продолжается спектакль.

Исполнителям главных ролей были предоставлены личные лимузины. Обратно в “Асторию” меня подвозила в своем лимузине Марта Флауэрс, которая играет Бесс в очередь с Этель Айлер и которую поставили выступать нынешним вечером. Я спросил, волнуется ли она перед премьерой.

— Я-то? Как сказать. Я тут уже два года. Меня одно волнует — небось порчу голос для серьезного дела.

Мисс Флауэрс недавно закончила Джульярдскую музыкальную школу и намеревается выступать с сольными концертами. Она маленькая и самоуверенная. Улыбается она или нет, уголки ее губ всегда опущены, как будто она попробовала недозрелую хурму.

— Устала я, вот это точно. Что это за климат для певицы? Все время надо за горлом следить, — сказала она, растирая горло. — Другая Бесс — ну, знаешь, Этель — вообще заболела. Простудилась. Лежит с темпереатурой и все прочее. Так что мне придется петь завтра днем — и вечером, наверное, тоже. Если так пойдет, недолго вообще загубить голос.

Она рассказала, что будет делать с этой минуты и до поднятия занавеса.

— Надо обязательно поесть. Но сначала приму ванну. В твоей плавать можно? Моя огромная — плавать можно. Потом посплю. Мы собираемся в театре в шесть. Где-то в шесть тридцать, должно быть, буду влезать в костюм и цветок этот пришпиливать. А потом, думаю, как следует насижусь.

В шесть тридцать, в момент, когда мисс Флауэрс, вероятно, сидела у себя в уборной и пришпиливала к волосам бумажную розу, миссис Брин и миссис Гершвин находились в апартаментах Боленов, куда их пригласили выпить перед отъездом во Дворец

культуры. У самого Брина было столько дел, что он не смог воспользоваться посольским приглашением и отправился в театр раньше.

Выпивку — виски с водой из-под крана — подавали помощник Болена Рой Лаури и миссис Лаури, пара, гармонично подобранная по скромной, учительски старомодной манере держаться. Была здесь также близкая подруга миссис Болен, Марина Сульцбергер, живая и остроумная жена корреспондента “Нью-Йорк Таймс”, который тоже присутствовал, чтобы оживить хозяевам ведение беседы. Не то чтобы миссис Болен, безмятежно энергичная женщина с внимательными голубыми глазами и цветом лица как у молочницы, не способна была поддержать любой, самый затруднительный разговор. Но, учитывая укоризненное письмо Брина Болену, нынешняя встреча представителей Эвримен-оперы и Госдепартамента обещала быть непростой. Что до посла, то по его любезному виду никто бы не заподозрил, что он получил такое письмо. Болен — профессиональный дипломат, прослуживший более 25 лет, причем бульшую часть в Москве, где поначалу занимал пост второго секретаря, нынешний пост Лаури, а в 1952 году был назначен послом, — до сих пор сохраняет сходство со своей фотографией 1927 года, года выпуска из Гарварда. Жизненный опыт огрубил его красивое лицо спортсмена, просолил волосы и уменьшил, а то и вовсе уничтожил мечтательную naivete* в глазах. Но прямота, простота и закаленность юности его не покинули. Он полулежал в кресле, потягивал виски и беседовал с миссис Брин, как будто они сидели в гостиной загородного дома, с огнем в камине и валяющимися на полу собаками.

Но миссис Брин нипочем не могла расслабиться. Она сидела на краешке стула, как будто пришла наниматься на работу.

— Как дивно, что вы приехали. Как чудно, — говорила она детским голоском, непохожим на ее собственный. — Это так много значит для исполнителей.

— Вы думаете, мы могли такое пропустить? — спросил Болен, а жена его добавила:

— Да ни за что на свете! Это главное событие зимнего сезона. Мы ни о чем другом не говорили, правда ведь, Чип? — обратилась она к мужу, назвав его семейным именем.

Миссис Брин скромно опустила глаза, щеки ее порозовели.

— Это так много значит для исполнителей.

— Это так много значит для нас, — сказала миссис Болен. — Не так здесь весело, чтобы позволить себе такое пропустить. Да что там, мы бы были тут, даже если бы всю дорогу пришлось пешком прошагать. На карачках бы приползли.

Миссис Брин на секунду подняла глаза и остро глянула на супругу посла, как будто заподозрив иронию; но, успокоенная простым и открытым лицом миссис Болен, снова опустила веки.

— Просто дивно с вашей стороны, — пролепетала она. — И конечно, мы все предвкушаем прием в Москве.

— Ах, да… прием, — сказала миссис Болен с ноткой резиньяции в голосе. Болены обещали через две недели дать прием у себя в резиденции по случаю московской премьеры спектакля.

— Мы с Робертом надеемся, что там будет мистер Булганин. Хотим лично его поблагодарить за любезный прием. Министерство культуры оказало Роберту замечательную дань уважения. Семь слонов из слоновой кости.

Речь шла о пластмассовых слониках, которые подарил Брину Савченко.

— Очень мило, — сказала миссис Болен машинально, как будто потеряв нить разговора. — Конечно, кто именно придет, точно сказать нельзя. Мы рассылаем плюс-минус двести приглашений, но русские никогда не отвечают, так что невозможно знать, кто придет и сколько.

— Точно, — подтвердил посол. — На этих ребят нельзя рассчитывать, пока они не войдут в дверь. Ни на одного. А если они сами устраивают прием, то приглашают в последнюю минуту. Когда известно, что в Кремле будет большой сбор, весь дипломатический корпус освобождает вечер, сидит и ждет — вдруг позвонят. Бывает, сел обедать — а тут звонок. Приходится все бросать и бежать. Слава богу, хоть наряжаться не требуется.

Это было возвращение к предыдущей теме, крайне болезненной для миссис Брин. Она глубоко опечалилась, узнав, что Болен не собирается идти на премьеру в смокинге. Вообще-то ее стремление, чтобы все было “гала”, шло еще дальше: она воображала, что посол будет, как ее муж, во фраке. Но…

— Мне и в голову не пришло брать смокинг, — сказал Болен, трогая пуговицу темно-серого костюма, который, по его мнению, вполне подходил к случаю. — Здесь их никто не носит. Даже на премьеру.

В другом углу тему кройки и шитья разрабатывали и углубляли миссис Гершвин и миссис Сульцбергер.

— Ну конечно, ни к чему расфуфыриваться. Я это все время твержу Вильве. Мы тут на балет ходили, так были просто посмешищем. И из-за чего тут огород городить? Из-за какого-то глупого “Порги”?

— Вообще-то, — сказала миссис Сульцбергер, уроженка Греции, и ее умные глаза заискрились средиземноморским

лукавством, — вообще-то русским не помешало бы поглядеть на прилично одетых людей. Ходить в таком виде просто непростительно. Когда мы только приехали, я их жалела. — Она объяснила, что они с мужем живут в Советском Союзе уже две недели, гостят

у Боленов. — Думала, они так одеваются — и вообще вся эта серость, потому что они жутко бедные. Но знаете? На самом деле ничего подобного. Они так выглядят, потому что хотят. Нарочно.

— Да, — сказала миссис Гершвин. — Я точно такого же мнения.

— Интересно, — размышляла вслух миссис Сульцбергер, — русские такие ужасные, потому что их всегда били? Или их всегда били, потому что они такие ужасные?

— Да, — сказала миссис Гершвин. — Я точно такого же мнения.

Лаури поймал взгляд посла и со значением посмотрел на часы. У дверей гостиницы мурлыкал лимузин, готовый доставить в театр Болена. Прочие ЗИСы — целая улица светящихся машин — ожидали появления миссис Брин с миссис Гершвин, Савченко с Адамовым и сотрудников Агентства печати, “Тайм-Лайф”, Си-би-эс. Приближалась минута, когда машины поползут по площади, как похоронный кортеж.

Болен допил виски и проводил гостей к дверям.

— Вам не о чем беспокоиться, — говорил он миссис Брин. — Русские — очень музыкальный народ. У вас рубли из ушей полезут.

— Он прелесть. И она очень милая, — говорила миссис Гершвин, когда они с миссис Брин спускались по лестнице.

— Да, он дивный. Но, — и по-детски робкий голосок миссис Брин вдруг повзрослел, — мы с Робертом так хотели, чтобы все было “гала”.

— Солнышко, нельзя же быть “гала”, если на тебя все будут пялиться, — заметила миссис Гершвин, усыпанная брильянтами, которые сверкали так, что казалось, она двигается под светом юпитеров. — Хотя, честно говоря, русским очень не помешало бы поглядеть на нарядных людей. Ходить в таком виде просто непростительно. Когда мы только приехали, мне было их жалко, но теперь…

На другом конце города, у Дворца культуры, припорошенные снегом толпы глядели на прибытие билетовладельцев, а внутри, в зале, уже сидело довольно много людей, истекавших потом в огнях кино- и телесъемки. По сторонам сцены стояли корзины цветов, желтых и белых, а над просцениумом плавали скрещенные флаги — переплетение звезд и полос с серпом и

молотом. За кулисами, где щебет флейт и стоны гобоев настраивавшегося оркестра отдавались эхом, как звуки леса, Марта Флауэрс, полностью одетая и, несмотря на отдаленный усиливающийся рокот зала, невозмутимо спокойная, готовилась, как и предсказывала, “насидеться как следует”.

И она оказалась права. Начало было назначено на восемь, но занавес поднялся в девять ноль пять, а опустился в одиннадцать сорок. К полуночи я был дома, в “Астории”, и ждал звонка Генри Шапиро, московского корреспондента “Юнайтед Пресс”, который сказал, что позвонит мне после премьеры, узнать, “как все было. Что было на самом деле”. В таких вещах абсолютной истины не существует, есть только мнения. И пытаясь сформулировать свое мнение, решая, что сказать Шапиро, я растянулся на кровати и выключил свет. Глаза у меня болели от недавнего блеска вспышек, в ушах негромко жужжали телекамеры. Более того, пока я лежал в темноте, в голове у меня как будто прокручивалась пленка, бессвязное буйство кадров: Марта Флауэрс, семенящая к рампе и посылающая зрителям воздушный поцелуй; Савченко, расхаживающий по фойе и слушающий разговоры о спектакле; ужас в глазах у Саши; мисс Райан, закрывающая лицо руками. Осознанным усилием я замедлил пленку и пустил ее прокручиваться с самого начала.

Все началось с публики — армии, стоявшей по стойке “смирно”, пока оркестр играл гимны обеих стран (Савченко любезно настоял на том, чтобы первым исполнялся “Звездно-полосатый флаг”). Затем в кадре появились отдельные лица: посол Болен с женой, Сульцбергеры, Лаури, мисс Райан и Леонард Лайонс, сидевшие все вместе в первом ряду. Около них, на возвышении, отходившем от края сцены, терпеливо ждал окончания гимнов эскадрон фотографов. После этого возвышение стало напоминать осажденную крепость: фотографы палили не переставая, а ассистенты перезаряжали фотоаппараты. Некоторые, вроде Дана Шорра из Си-би-эс, отчаянно метались между аппаратами и магнитофонами, фиксируя предпремьерные церемонии. Но нужды в такой спешке не было. Речи, с переводом, длились ровно час.

Русские особенно не рассусоливали. Молодой щеголеватый балетмейстер ленинградского театра Константин Сергеев пожал Брину руку и сказал в микрофон:

— Дорогие собратья по искусству, добро пожаловать. Мы в СССР всегда со вниманием и уважением относились к искусству Соединенных Штатов. Мы знаем и любим произведения таких художников, как Марк Твен, Уолт Уитмен, Гарриет Бичер Стоу, Джек Лондон и Поль Робсон. Мы ценим талант Джорджа

Гершвина, и поэтому нынешняя встреча — громадная радость для нас.

Потом миссис Гершвин говорила:

— Я чуть в обоморок не упала, когда он Гершвина сунул в одну кучу со всеми этими коммунистами.

Брин поклонился Сергееву и приблизился к микрофону, безупречно одетый. В прекрасно сидевшем смокинге и накрахмаленной рубашке.

“Нервы не выдержали”, — так объяснила потом мисс Райан, почему ее босс в последнюю минуту отказался от фрака и белого галстука. Но теперь, судя по реакции Брина на встретившие его аплодисменты, нельзя было поверить, что у него вообще есть нервы. Гладкое лицо его с белокурыми волосами, обесцвеченное резким светом ламп и взрывающимися вспышками, хранило выражение отстраненной, задумчивой сосредоточенности, как будто он столько раз воображал происходящее в мечтах, что для него все это было сном; и когда он заговорил, размеренный похоронный тембр его актерского голоса еще усилил впечатление, что он воображает себя на пустой сцене и обращается к воображаемой публике, в преддверии идеального для его “я” момента, который когда-нибудь станет явью. Воображаемая публика отличается покорностью; но Брин все говорил и говорил, а за ним тащился перевод, и постепенно люди, собравшиеся во Дворце культуры, тоже стали переговариваться между собой. Изящным жестом grand seigneur* Брин представил посла Болена и миссис Болен, которые поднялись с мест и наклоном головы ответили на аплодисменты. Предполагалось, что посол произнесет речь, но, к великому облегчению Болена и неудовольствию Брина, советские, крайне чувствительные к дипломатическому протоколу, потребовали исключить этот пункт из программы, за неимением персоны “соответствующего ранга”, которая могла бы произнести ответную речь. Представлены были также миссис Гершвин и дирижер Александр Смолленс, которому хлопали особенно щедро, поскольку Брин объявил, что он “родился здесь, в Ленинграде”. Продолжая представления, Брин познакомил публику с исполнителями, не занятыми в сегодняшнем спектакле: со второй Бесс, Этель Айлер, которая настолько оправилась от простуды, что вылезла из кровати и влезла в облегающее голубое вечернее платье с губоким декольте; с Лоренцо Фуллером. Фуллер произнес “несколько слов”, в том числе выученную наизусть русскую фразу “Добро пожаловать, друзья”. Публика одобрительно заревела. Но когда стрелки часов полезли к девяти, даже исступленно снимавшие фотографы приостановились и

стали поглядывать на часы.

— Черт, — сказал кто-то из корреспондентов, — им бы нужно было гонг повесить, для регламента.

Брин как будто его подслушал, ибо церемония представления внезапно закончилась.

В театре стало тихо, как на насесте в час заката; зрители усаживались поудобнее, в уверенности, что сейчас поднимется занавес и перед ними откроется то, за что они платили свои рубли, — “Порги и Бесс”. Но вместо этого появился Саша. Он шел по сцене на негнущихся ногах, пошатываясь, как по палубе пиратского корабля перед казнью. В руках у него трепетал пучок машинописных страниц, смертельно бледное, без кровинки лицо блестело от пота. Как только зрители поняли, что он здесь делает, насест превратился в осиное гнездо. Они больше не могли вынести ни одного слова о представлении, они хотели видеть его, и все тут. Мятеж, разразившийся на ярусах, откуда послышались громкие крики, передался оркестру: клиенты хлопали, свистели, топали ногами.

— Бедный Саша, бедный, бедный мальчик, — сказала мисс Райан, закрывая лицо руками. — Какой ужас. Не могу на это смотреть.

Несколькими рядами дальше Сашины приятели, Игорь и Генри, сгорбились на стульях, но мисс Лидия, не такая чувствительная, кидала на соседей убийственные взгляды, явно готовая треснуть их сумкой по голове. Между тем Саша, стоя на сцене, продолжал читать, бормоча себе под нос, как будто читая заклинания против оглушительного рева; как до него Брин, он завяз в паутине сна, мертвящего кошмара, когда оказываешься голым на улице. Наконец Смолленс поднял палочку, и, пока Саша пятился за кулисы, зазвучала увертюра.

Скоро выяснилось, что публика жалеет о том, что не слушала Сашин пересказ двухактной истории, о которой поветвует опера. Скелет истории таков: калека-нищий Порги влюбляется в чарльстонскую потаскушку Бесс. Увы, эта неврастеничная молодая особа находится под вредным влиянием двух других джентльменов. Один, Кайфолов, торговец наркотиками и воплощенный дьявол, сделал из нее наркоманку, другой, привлекательно мускулистый бандит по кличке Краун, монополизировал ее сексуальные импульсы. Порги избавляется от соперника, убивая его. За этот подвиг его отправляют в тюрьму, а Бесс пока утоляет печали наркотическим кутежом, в процессе которого Кайфолову удается уговорить ее забыть Порги и рвануть с ним в Нью-Йорк. “Там наше место, сестренка”, — поет он, и под его песню они отправляются в путь, к сахарным огням

Гарлема. В последней сцене Порги, которого признали невиновным в убийстве Крауна, отправляется на Север в повозке, запряженной козами, уверенный, что найдет Бесс и вернется с ней домой. Сюжетная линия вроде бы прямее линейки, но она изложена сложным вокально-хореографическим языком, способным запутать любую аудиторию, отгороженную языковым барьером, особенно если и музыка, и стиль танца, и режиссерское решение — все это terra incognita* для подавляющего большинства людей, собравшихся во Дворце культуры.

“Summertime” отзвучал, но аплодисментов не последовало. Первый выход Порги прошел необъявленным. Исполнитель роли, Лесли Скотт, допел “Женщина — штучка на время” и сделал паузу, ожидая аплодисментов. Их не было, и на сцене произошла минутная заминка. Оправившись, исполнители перешли к напряженной, взвинченной сцене игры в крэп. Среди зрителей прошел ропот: они как будто спрашивали друг друга, что все это значит, зачем эти мужчины возбужденно кидают кости? Ропот набирал силу и превратился в потрясенное “ах”, когда Бесс при первом появлении высоко задрала юбку, поправляя чулок. Мисс Райан шепнула Лаури:

— Если для них это слишком, что дальше будет?

Не успела она это вымолвить, как Кайфолов начал свои остроумные, сладострастные пируэты, зажегшие новые фейерверки изумления. Игра в крэп заканчивается тем, что Краун убивает соседа Порги. Следует сцена похорон; вдова убитого поет “Моего больше нет”, а жители Кэтфиш Роу раскачиваются в такт пению, образуя трайбалистское кольцо вокруг гроба. На этом месте какой-то советский сановник повернулся к сидевшему рядом репортеру и по-русски сказал:

— Ага, теперь понятно: они собираются его съесть.

Между тем покойника, несъеденного, препроводили в могилу, и опера продолжилась оптимистической арией Порги “I’ve got Plenty of Nothing”. Скотт, крупный, плотный баритон, проревел арию со страстью, которая неминуемо должна была вызвать бурю аплодисментов. Но бури не было.

Упорное безмолвие зрителей объяснялось, похоже, не апатией: скорее, тут была недоуменная сосредоточенность, тревожное желание понять; они слушали без улыбки, с напряженным вниманием, как студенты на лекции, боясь пропустить что-то главное, какое-то слово или фразу, которая окажется ключом к разворачивающейся перед ними мистерии. Лишь к концу первого акта по театру пронеслось тепло, приходящее с пониманием. Оно было ответом на “Теперь ты моя, Бесс”, дуэт главных действующих лиц. Вдруг всем стало ясно, что

Порги и Бесс любят друг друга, что их дуэт выражает радость и нежность, и зрители, тоже обрадованные, обрушили на исполнителей овацию, недолгую, но бурную, как тропический ливень. Однако музыка перешла в бравурную мелодию финала первого акта “Не могу стоять на месте” — и в зале опять воцарилась засуха. Сцена эта пересыпана фольклорным юмором; и время от времени изолированное фырканье, одинокие смешки показывали, что в зале есть люди, понимающие юмор. Занавес опустился. Тишина. Начал зажигаться свет; публика моргнула, как будто только сейчас поняв, что первый акт кончился, перевела дух, как после “русских горок”, и начала аплодировать. Аплодисменты длились тридцать две секунды.

— Они не в себе, — сказал Лаури, повторяя букву бриновского пророчества, но каким-то образом преобразив его дух. — Никогда такого не видели.

Если русские и были не в себе, то не они одни. Американские журналисты совещались, собравшись в кружок.

— До них не доходит, — жаловался сбитый с толку Дан Шорр озадаченноу фотографу из “Тайм-Лайф”.

Да и миссис Болен, шедшая по проходу вслед за мужем, выглядела горько задумавшейся. Позднее она объяснила, что таилось за этим ее выражением:

— Я думала: ну вот, сели в лужу. Что теперь делать?

В переполненном фойе улыбающаяся миссис Брин высказывалась оптимистичнее: по ее мнению, спектакль проходил “дивно”. Один из репортеров, перебив ее, спросил, почему в таком случае русские “будто воды в рот набрали”. Миссис Брин поглядела на него так, как будто за ним вот-вот придут санитары.

— Но они и не должны аплодировать, — сказала она. — Роберт так задумал. Никаких аплодисментов. Разрушают настрой.

Вольферты были согласны с миссис Брин: по их мнению, премьера будет триумфальной.

— Мы это в первый раз смотрим, — сказал Вольферт. — Не люблю мюзиклов. Чепуха на постном масле. Но этот очень даже ничего.

Русскоговорящая американка Присцилла Джонсон весь антракт занималась тем, что подслушивала разговоры публики.

— Они шокированы, — сообщила она. — Считают все жутко аморальным. Но, бог ты мой, они не виноваты, что им не нравится. Такая второсортная постановка — вот что меня огорчает. Будь она правда хорошей, можно было бы считать, что дело в них. Жаль, жаль, — повторяла она, покачивая головой и перебирая свои браслеты. — Вся эта компания — Брины, реклама и прочее — бог ты мой, провал их доконает.

Савченко с Адамовым, как и мисс Джонсон, бродили по фойе, собирая мнения.

— Очень большой успех, — вот все, чего можно было добиться от Савченко; зато Адамов, заметно обогативший свой сленг за счет обучения у исполнителей, сказал:

— Ну ладно, собрались фрайера и не секут. Не врубаются. Ну и что такого? У вас в Нью-Йорке, что ли, нету фрайеров?

Мимо прошли мадам Нервицкая с мужем.

— О, мы в восторге, — сказала она, помахивая мундштуком длиной с саблю. — Нервицкий считает, что это tres deprave*, а я нет. Меня вся эта мерзость просто чарует. Этот ритм, этот пот. Все-таки негры ужасно смешные! А зубы какие!

Подойдя поближе, она сказала:

— Вы сообщили приятельницам? Номер пятьсот двадцать. Не звоните, просто заходите тихонько и приносите все, что можно. Я очень хорошо заплачу.

У прилавка со стаканом минеральной воды в руках стоял Степан Орлов.

— Друг, — сказал он, хлопая меня по по плечу, — как повеселились, а? Наутро, знаете ли, жене пришлось буквально силком поднимать меня с постели. Шнуровать мне туфли, галстук завязывать. Без злобы, вы понимаете: со смехом. — Он достал бинокль и стал в него смотреть. — Я видел Нэнси. Думал: заговорить? Но решил: нет, Нэнси сидит со сливками общества. Вы ей скажете, что я ее видел?

Я пообещал, что скажу, и спросил, нравится ли ему “Порги и Бесс”.

— Мне хотелось бы иметь билеты на все представления. Это переживание. Мощное. Как Джек Лондон. Как Гоголь. Никогда не забуду, — ответил он, засовывая бинокль в карман.

Он нахмурился, открыл рот, собираясь что-то добавить, но передумал и выпил воды; потом опять передумал и решил все-таки высказаться:

— Дело не во мне. Что мы, старики, думаем, вообще неважно. Важно, что думает молодежь. Важно, что им в душу запали новые семена. Сегодня, — продолжал он, обводя взглядом фойе, — вся эта молодежь не будет спать ночь. Завтра начнется насвистывание. Жужжание в аудиториях, нудное, раздражающее. А летом будет свистеть весь город. Молодые будут гулять по набережным и напевать. Они не забудут.

За кулисами, где исполнители готовились ко второму акту, царило спокойствие. Лесли Скотт, нимало не обеспокоенный приемом предыдущего акта, сказал с ухмылкой:

— До них долговато доходит, это точно. Но вообще-то

публика всегда раскочегаривается только к дуэту “Ты теперь моя, Бесс”, а он прошел нормально. Дальше на всех парусах пойдем.

Марта Флауэрс, приводившая в порядок грим, сказала:

— Такая публика, сякая публика — не вижу никакой разницы. И вы бы не видели, если бы два года пахали.

Но Саша, которому предстояло опять рассказывать либретто, не обладал профессиональным savoir** Марты Флауэрс, и на него было страшно смотреть: с поникшей головой, держась за балетную перекладину, как боксер за канаты, он оцепенело слушал ободряющие слова, которые нашептывали его секунданты, Игорь и Генри.

К Сашиному изумлению, второй раунд оказался победоносным. Публике страстно хотелось знать, что произойдет в следующем действии, и Саша, который две недели спустя поступил на актерское отделение МХАТа, с восторгом рассказывал об убийстве Крауна и аресте Порги. Уходил он со сцены под грандиозную овацию; а мисс Лидия продолжала хлопасть даже после того, как в зале погас свет.

Чувственность — аспект, больше всего мешавший советским, — в первые двадцать минут второго акта достигает пика — с Эверест вышиной. Песня “Стыда у меня нет” и сопровождающая ее хореография, типа “тряси, да поживее”, оказались настолько точно названными и ярко проиллюстрированными, что русским стало не по себе. Но настоящий афронт для пуритан — это следующая, любимая сцена режиссера, которую он все заострял и заострял на репетициях. Начинается она с попытки Крауна изнасиловать Бесс — он прижимает ее к себе, хватает за зад, за грудь, — а кончается тем, что Бесс насилует его — срывает с него рубашку, обхватывает руками и извивается, корчась, как бекон на сковородке. Затемнение.

У части публики тоже произошло затемнение в мозгах.

— Ну и ну, — сказал кто-то из корреспондентов, и голос его далеко разнесся во внезапно наступившей тишине, — на Бродвей их бы с таким не пустили!

На что американская журналистка ответила:

— Какая чушь. Это лучшая сцена в спектакле.

Лесли Скотт предсказывал, что второй акт “пройдет на всех парусах”, и его прогноз почти оправдался. Попутный ветер принесла с собой песня продавщицы клубники. Тут, как в любовном дуэте, и мелодия, и ситуация — женщина продает клубнику на улице — были русским понятны, и они были очарованы. После этого каждая сцена принималась благожелательно; и если спектакль не прошел “на всех парусах” — вероятно, слишком много воды утекло, — то и не потонул,

благополучно доплыв до конца.

Когда занавес упал и начались вызовы, тележурналисты и фотографы стали носиться по проходам, снимая параллельно хлопавших русских и кланявшихся исполнителей.

— Они потрясены, — опять изрек Лаури, а жена его закончила вечным: “Они никогда такого не видели”.

Аплодисменты, которые, по словам опытного очевидца, “ни в какое сравнение не идут с премьерой в Большом театре”, длились логичное количество выходов, после чего быстро стали угасать. И тут-то, когда люди уже вставали с мест, Брин затребовал более явного успеха, бросив в бой “стихийный”, сверх программы, выход на аплодисменты, срепетированный сегодня днем. Один за другим исполнители выходили на сцену, кружась и раскачиваясь под барабанный бой.

— О боже, — простонала мисс Райан, — только не это! Не надо выклянчивать!

Последовала проверка на прочность, в ходе которой зрители пошли на компромисс: настоящие аплодисменты заменились равномерными хлопками. Прошло три минуты, четыре, пять, шесть, семь. Наконец, после того как похлопали электрикам и т. п. и мисс Флауэрс послала публике прощальный воздушный поцелуй, Брин, раскланявшись в последний раз, позволил опустить занавес.

Американского посла с супругой, а также разных советских чиновников провели за кулисы, пожать руки исполнителям.

— Не понимаю, из-за чего сыр-бор, — весело покрикивала миссис Гершвин, протискиваясь сквозь царившее за кулисами столпотворение. — Из-за какого-то глупого Порги.

Савченко пробился к миссис Брин. Деревянно пожав ей руку, он сказал:

— Хочу поздравить вас с очень большим успехом.

Миссис Брин прикоснулась платочком к глазам, вытирая несуществующие слезы.

— Эта овация. Дивно, правда? — Она глянула на мужа, который вместе с Боленами позировал для фотографов. — Такая дань восхищения Роберту.

Выйдя из театра, я довольно долго шел, прежде чем увидел такси. Впереди шли трое, два молодых человека и девушка. Как я понял, они только что посмотрели “Порги и Бесс”. Голоса их звонко отдавались на затененных, снежно-безмолвных улицах. Они говорили все разом, возбужденная болтовня перемежалась пением: зазывный крик продавщицы клубники, обрывок “Summertime”. Потом девушка, явно не понимая слов, но фонетически их запомнив, пропела: “There’s a boat that’s leavin’

soon for New York, come with me, that's where to belong, sister…" Спутники аккомпанировали ей свистом. Орлов сказал: "А летом вы только это и будете слышать. Они не забудут".

Надежда, таившаяся в этих молодых, которые не забудут, перед которыми открылись новые горизонты, — этого ведь достаточно, думал я, чтобы сказать Генри Шапиро, что премьера прошла на ура? Это не был успех "разорвавшейся бомбы", которого ожидали владельцы Эвримен-оперы, — это была победа более тонкого свойства, значимая, плодотворная. И все-таки, когда я лежал у себя в номере и наконец зазвонил телефон, меня охватили сомнения.

"Как все прошло? Как было на самом деле?" — вопросы эти требовали журналистского ответа, без тонкостей. Мог ли я, не кривя душой, дать Шапиро радужный отчет о том, как приняли оперу? Мне хотелось бы именно этого; подозреваю, что именно это ему хотелось услышать. Но я все не поднимал трубку, а в голове у меня вертелось множество "если бы": если бы у русских были программки, если бы торжественная часть была покороче, если бы от публики меньше требовалось, если бы… я наконец решился и взял трубку. Но звонила мисс Лидия, сказавшая, что просит извинения, что мне кто-то звонил из Москвы и его разъединили. В тот вечер звонков больше не было.

В двух главных газетах города, "Смене" и "Вечернем Ленинграде", появились рецензии на спектакль. Болен нашел обе статьи "в целом прекрасными. Очень вдумчивыми. Видно, что они отнеслись к делу серьезно".

Критик "Вечернего Ленинграда" писал: "„Порги и Бесс" — работа, отмеченная блестящим талантом и необыкновенным мастерством… тепло принята публикой". Дальше эта мысль растягивалась на полторы тысячи слов. Он хвалил партитуру ("Музыка Гершвина мелодична, искренна, пропитана негритянским музыкальным фольклором. В ней масса по-настоящему выразительных, разнообразных мелодий"), режиссуру Брина ("Спектакль мастерски срежиссирован и захватывает динамичностью и размахом"), дирижера ("Музыкальная сторона спектакля на очень высоком уровне") и, наконец, исполнителей ("…на редкость гармоничный ансамбль…"). Легкий нагоняй получило либретто: рецензент заметил в нем "элементы экспрессионизма и мелодраматизма, а также избыток подробностей из сферы уголовного следствия". Не забыл "Вечерний Ленинград" нажать и на политическую педаль: "Мы, советские зрители, понимаем, как разлагающе действует капиталистический строй на сознание, ум и нравственность народа, задавленного нищетой. Это переводит пьесу Хейуорда, в

музыкальной обработке Гершвина, в разряд музыкальной драмы". Но такого рода соображения представлялись простым pianissimo по сравнению с оглушительными пропагандистскими аккордами, которых ожидали противники гастролей "Порги и Бесс".

Второй критик, Ю. Ковалев, писавший в "Смене", упомянул фактор, оставленный без внимания "Вечерним Ленинградом". "Неприятное впечатление производит поразительно эротическая окраска некоторых танцевальных сцен. Трудно винить в этом специфику национального танца. Скорее виноваты тут режиссерский вкус и, вероятно, „традиция", восходящая к бродвейскому „бурлеску" и „ревю". Но в целом, — продолжал Ковалев, — „Порги и Бесс" — одно из интереснейших событий театрального сезона. Это прекрасно сыгранный спектакль, яркий, полный движения и музыки. Он свидетельствует о высокой талантливости негритянского народа. Возможно, не все в музыке и постановке будет одобрено советскими зрителями, не все им будет понятно. Мы не привыкли к натуралистическим деталям в танце, к чрезмерно джазовому звучанию симфонического оркестра и т. д. Но, несмотря на это, спектакль расширяет наше представление об искусстве современной Америки и знакомит с неизвестными ранее гранями музыкальной и театральной жизни США".

Рецензии появились только в четверг, через три дня после премьеры. К тому времени они уже никого не интересовали, и труппа листала их позевывая.

— Ну да, написали, спасибо, но кого это волнует? — выразил общее мнение один из исполнителей. — Какая разница, что русские думают? Главное — что дома пишут. Все остальное — чепуха.

Что пишут в Америке — труппа уже знала, ибо во вторник Брин получил телеграмму из нью-йоркского филиала Эвримен-оперы. Мисс Райан отпечатала текст в нескольких экземплярах и, когда мы встретились в холле, вывешивала один экземпляр на доску объявлений.

— Привет, — сказала она. — Угадай, что было? Звонил Степан Кролик. Приглашал на танцы. Как ты думаешь, можно? Если он действительно имеет в виду танцы? Вообще-то мне все равно, я бы с Джеком Потрошителем пошла, лишь бы подальше от "Порги и Бесс". — С этими словами она прикнопила к доске телеграмму.

"Роберт Брин Гостиница Астория Ленинград СССР точка

Здесь восторженные статьи весь декабрь 27 газет точка все пишут о десятиминутной овации точка

Заголовки журналах — „Ленинград в восторге от Порги и

Бесс” точка

Ассошиэйтед Пресс говорит про громадный спрос на билеты и количество зрителей точка

Заголовок телеграммы „Порги завоевывает похвалы в России” на публикации АП точка

Передовая Миррор „Дипломаты от сердца к сердцу — исполнители взяли Ленинград песней запятая мы гордимся ими” точка

Публикация АП в некоторых газетах запятая говорит московское радио запятая назвало премьеру громадным успехом точка

Сегодня передовая Сульцбергера в „Нью-Йорк Таймс” „Порги и Бесс прорубает новое окно на Запад” точка

Передовая в сегодняшнем журнале — „сногсшибательный успех” точка

Эн-би-си Си-би-эс блистательные отзывы точка

Поздравляем всех и каждого”.

— Конечно, это пришло не точно в таком виде, — заметила мисс Райан, перечитывая телеграмму. — Брины кое-что убрали, а кое-что добавили. Там было: “„Таймс” пишет, что успех был умеренный”. Сто против одного, что Вильва это вырезала! Но вообще-то, — она вздохнула и улыбнулась, — если все хорошо, так почему бы и не приукрасить немножко? Вильве главное — чтобы всем было хорошо, и это в общем мило.

Весь вечер члены труппы, проходя через холл, останавливались и читали телеграмму из Нью-Йорка. Прочтя, они ухмылялись и уходили пружинистой походкой.

— Ну, как тебе нравится, друг? — сказал Эрл Брюс Джексон Уорнеру Уотсону, читавшему телеграмму с ним рядом. — Мы в историю вошли!

На что Уотсон, потирая руки, ответил:

— Ага, точно. Историю мы заарканили.